

ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

ДЖЕФФРИ
Евгенидис

СРЕДНИЙ ПОЛ

Выдающийся текст на запретную тему.

THE NEW YORK TIMES

18+

Джеффри Евгенидис

Средний пол

«РИПОЛ Классик»

2002

УДК 82/89
ББК 84(7Сое)

Евгенидис Д.

Средний пол / Д. Евгенидис — «РИПОЛ Классик», 2002

ISBN 978-5-386-10845-8

Роман современного американского писателя Дж. Евгенидиса повествует о судьбе нескольких поколений греческой семьи. Цепь роковых событий привела к тому, что в 1960 году в Детройте на свет появился гермафродит, от лица которого и ведется рассказ.

УДК 82/89
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-386-10845-8

© Евгенидис Д., 2002
© РИПОЛ Классик, 2002

Содержание

Книга первая	6
Серебряная ложечка	6
Сватовство	16
Нескромное предложение	29
Шелковый путь	44
Книга вторая	53
Плавильня английской школы Генри Форда	53
Минотавр	70
Фригидный брак	83
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Джеффри Евгенидис Средний пол

Jeffrey Eugenides
Middlesex

© Jeffrey Eugenides, 2019

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

* * *

Спасительнице с совершенно иным генофондом

Книга первая

Серебряная ложечка

У меня два дня рождения: сначала я появился на свет как младенец женского пола в поразительно ясный январский день 1960 года в Детройте, а потом в августе 1974-го в виде мальчика подросткового возраста в палате скорой помощи в Питоски, штат Мичиган. Просвещенный читатель мог узнать обо мне из статьи доктора Питера Люса «Половая идентификация у псевдогермафродитов с синдромом дефицита 5-альфа-редуктазы», которая была опубликована в 1975 году в журнале «Детская эндокринология». Или вы могли видеть мою фотографию в шестнадцатой главе ныне безнадежно устаревшего издания «Генетика и наследственность». Это я с черной наклейкой на глазах стою голым у ростомера на странице пятьсот семьдесят восемь.

В свидетельстве о рождении я записан как Каллиопа Елена Стефанидис. А в моих водительских правах, полученных в Федеративной Республике Германия, мое имя сокращено до «Калл». В прошлом хоккейный голкипер, постоянный член Фонда по спасению ламантинов, я время от времени посещаю православные церкви и большую часть своей сознательной жизни провел на службе в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Подобно Тиресию, я был одним существом, а потом стал другим. Надо мной потешались одноклассники, врачи обращались со мной как с подопытной морской свинкой, меня прощупывали и изучали специалисты. В меня влюбилась рыжеволосая девчонка из Гросс-Пойнта, не догадываясь, кто я на самом деле. (И ее брат тоже влюбился.) Однажды я участвовал в городском побоище на военном танке; плавание в бассейне сделало из меня легенду; я покидал собственное тело, чтобы погрузиться в другое, но все это происходило до того, как мне исполнилось шестнадцать.

А сейчас, когда мне сорок один, я чувствую, что мне предстоит еще одно рождение. Десятилетиями меня не интересовали семейные корни, и вдруг я начал задумываться об усопших двоюродных бабушках и дедушках, неведомых кузинах и прочей седьмой воде на киселе, хотя, когда речь идет о таком кровосмесительном семействе, как мое, все сливается воедино. Поэтому, пока еще не поздно, я хочу во всем разобраться – с этим геном, несущимся сквозь время по американским горам. Воспой, о Муза, рецессивную мутацию моей пятой хромосомы! Поведай о том, как она расцвела два с половиной века тому назад на склонах Олимпа, где пасутся козы и падают с ветвей оливки. Поведай, как она прошла сквозь девять поколений и незаметно обосновалась в мутной заводи семейства Стефанидисов. Расскажи, как Провидение, воспользовавшись резней, перенесло этот ген, как семечко, над океаном, в Америку, где он скитался, омываемый кислотными дождями, пока не попал в плодородное чрево моей матери.

Прошу прощения, порой во мне просыпается Гомер. Это тоже генетическое.

Как-то за три месяца до моего рождения после одного из изысканных воскресных обедов моя бабка Дездемона Стефанидис попросила моего брата принести ее шкатулку. Пункт Одиннадцать¹ как раз шел на кухню за добавкой рисового пудинга, когда она преградила ему путь. В свои пятьдесят семь – низенькая, плотно сбитая, с устрашающей сеточкой на волосах – бабушка словно специально была создана для того, чтобы не давать людям прохода. На кухне у нее за спиной смеялись и перешептывались собравшиеся женщины. Заинтригованный Пункт Одиннадцать наклонился посмотреть, что там происходит, но Дездемона протянула руку и

¹ Прозвище брата Калли намекает на его будущее. Имеется в виду п. 11 налогового законодательства США.

властно ущипнула его за щеку. Завладев его вниманием, она изобразила в воздухе прямоугольник и указала наверх, после чего прошамкала своими плохо подогнанными протезами: «Сходи туда, куколка».

Пункт Одиннадцать знал, что надо делать. Он бросился по коридору в гостиную, поднялся на четвереньках по лестнице на второй этаж, пробежал мимо спален и добрался до почти незаметной двери, оклеенной обоями, словно за ней скрывался потайной ход. На уровне своей головы Пункт Одиннадцать нащупал крохотную ручку и, надавив изо всех сил, открыл дверь. За ней была еще одна лестница. Довольно долго мой брат нерешительно всматривался в темноту, потом очень медленно начал подниматься на чердак, где жили бабушка с дедушкой. Он прошел в тапочках под двенадцатью оклеенными газетами птичьими клетками, подвешенными к стропилам, и с отважным видом погрузился в затхлый смрад попугаев, перемешанный с неповторимым запахом деда и бабушки, являвшим собой смесь нафталина с гашишем. Он миновал письменный стол деда, заваленный книгами и пластинками, уперся в кожаную оттоманку с круглым кофейным столиком из латуни около нее – и наконец обнаружил кровать, под которой стояла шкатулка.

Немногим больше обувной коробки, шкатулка была вырезана из оливы и закрывалась оловянной крышечкой с мелкими дырочками, украшало крышечку изображение неизвестного святого. Лицо святого стерлось, зато пальцы его правой руки были воздеты, словно он благословлял багряное, самоуверенного вида тутовое деревце. Насладившись созерцанием этого ботанического экземпляра, Пункт Одиннадцать вытащил шкатулку из-под кровати и открыл ее. Внутри лежали два свадебных венца, сплетенных из морского каната и перевившихся, как змеи, и две длинные косы, обвязанные рассыпающимися черными лентами. Пункт Одиннадцать ткнул косу указательным пальцем. Но как раз в этот момент закричал один из попугаев – мой брат подскочил, закрыл шкатулку, сунул под мышку и понес вниз Дездемоне.

Она по-прежнему стояла в дверном проеме. Взяла у него шкатулку и вернулась на кухню; и тут Пункт Одиннадцать рассмотрел присутствовавших там женщин, которые теперь молчали. Они посторонились, пропуская Дездемону, так что посередине кухни осталась только моя мать. Тесси Стефанидис сидела, откинувшись на спинку кресла, придавленная своим огромным, туго натянутым беременным животом. На ее раскрасневшемся лице было написано выражение счастливой беспомощности. Дездемона поставила шкатулку на стол и сняла крышечку. Покопавшись под свадебными венцами и косами, она достала серебряную ложечку, не замеченную Пунктом Одиннадцать, и привязала к ее черенку тесемку. Наклонилась и начала раскачивать ложку над раздутым животом мамы. Ну, заодно и надо мной.

До этого момента Дездемона славилась своими неслыханными результатами – двадцать три верных прогноза. Она знала, что Тесси будет Тесси. Она предсказала пол моего брата и моих четырех классически названных кузенов и кузины – Сократа, Платона, Аристотеля и Клеопатры. Но дети, пол которых она отказывалась определять, были ее собственные: считалось дурной приметой проникать в тайны своего чрева. Зато чрево моей матери она исследовала абсолютно бесстрашно. Ложка помедлила и начала раскачиваться с севера на юг – это означало, что я буду мальчиком.

Сидя на стуле расставив ноги, мама попыталась улыбнуться. Она не хотела мальчика. У нее уже был сын. К тому же она была настолько уверена в рождении дочери, что уже выбрала ей имя – Каллиопа. Но когда бабушка изрекла по-гречески: «Мальчик!», ее крик пронесся по коридору и долетел до гостиной, где мужчины спорили о политике. И моя мать, услышав его, многократно повторенное, стала сомневаться.

Однако когда этот крик достиг слуха моего отца, он вошел в кухню и сообщил своей матери, что на этот раз ее ложечка ошибается.

– А ты откуда знаешь? – осведомилась Дездемона.

На что он ответил так, как это сделало бы большинство его сверстников-американцев:

– Это научный факт, мама.

Как только Мильтон с Тесси решили завести еще одного ребенка – столовая процветала, а Пункт Одиннадцать давно уже вырос из пеленок, – они сразу договорились, что хотят иметь дочь. Пункту Одиннадцать только что исполнилось пять. Найдя во дворе мертвую птицу, он принес ее в дом, чтобы показать маме. Ему нравилось стрелять, стучать, колотить, разбивать и драться с отцом. В таком мужском окружении Тесси начала чувствовать себя лишней, и ей стало казаться, что лет через десять она превратится в заложницу автомобильных покрышек и грыж. Поэтому она мечтала о дочери как о противоядии, о единомышленнице, которая будет любить левреток и сопровождать ее в походах по магазинам. Весной 1959 года, когда обсуждение моего зачатия шло полным ходом, мать не могла еще себе представить, что в скором времени женщины будут тысячами сжигать свои бюстгалтеры. Ее лифчики были жесткими, подбитыми подушечками и огнеупорными. И как бы Тесси ни любила своего сына, она понимала, что некоторыми тайнами она сможет делиться только с дочерью.

По утрам, отправляясь на работу, мой отец грезил о невероятно прелестной темноглазой девчушке. Она сидела рядом и обращалась к нему, всезнающему и терпеливому, с целым ворохом вопросов – особенно когда машина останавливалась на красный свет. «А что это такое, папа?» – «Это? Это знак „кадиллака“». – «А что такое знак „кадиллака“?» – «Давным-давно жил один французский исследователь, которого звали Кадиллак, именно он открыл Детройт. А этот знак был его фамильной печатью из Франции». – «А что такое Франция?» – «А Франция – это страна в Европе». – «А что такое Европа?» – «А Европа – это континент, такой огромный кусок суши, гораздо больше, чем страна. Но теперь „кадиллаки« в Европе не делают, кукла. Их изготавливают прямо здесь в старой доброй Америке». На светофоре зажигается зеленый свет, и машина трогается. Но мой прототип никуда не исчезает. Он продолжает сидеть рядом и у следующего светофора, и еще через один. Его общество столь приятно моему отцу, что он, как человек дела, начинает думать о превращении своих грез в реальность.

Таким образом, в гостиной, где мужчины обсуждали политические вопросы, появилась новая тема, а именно – скорость движения сперматозоидов. Главным в обществе, каждую неделю собиравшемся на наших черных козетках, был Питер Татакис, или, как мы его называли, дядя Пит. Закоренелый холостяк, он не имел своей семьи в Америке и поэтому привязался к нам. Каждое воскресенье этот высокий грустный человек с лицом красновато-лилового оттенка и копной вьющихся волос приезжал на своем темно-красном «бьюике». Дети его не интересовали. Любитель серии «Великие книги», которую он перечел дважды, дядя Пит был поглощен серьезными мыслями и итальянской оперой. В области исторической науки он испытывал страстную любовь к Эдварду Гиббону, в литературе – к дневникам мадам де Сталь. Он любил цитировать мнение этой остроумной дамы о немецком языке: этот язык не приспособлен для устной речи, так как приходится дожидаться конца предложения, чтобы услышать глагол, и перебить собеседника не представляется возможным. Дядя Пит мечтал стать врачом, но разразившаяся «катастрофа» положила конец этой мечте. В Соединенных Штатах он два года проучился в школе хиропрактики и теперь имел небольшой офис в Бирмингеме, где поставил скелет человека, за который выплачивал ежемесячные взносы. В те времена специалисты в этой области пользовались довольно сомнительной репутацией, и к дяде Питу редко обращались с просьбой пробудить кундалини. Он вправлял шейные позвонки, выпрямлял позвоночник и изготавливал на заказ реберные дуги из пенопласта. И тем не менее из всей компании, собиравшейся у нас по воскресеньям, он имел самое близкое отношение к медицине. Еще в юности ему удалили половину желудка, и теперь после обеда он всегда пил пепси-колу для улучшения пищеварения. Как он мудро заявлял, этот безалкогольный напиток получил свое название от пищеварительного фермента пепсина, который полностью соответствовал потребностям его организма.

Именно эти сведения и заставили моего отца полностью довериться дяде Питу, когда речь зашла о схемах зачатия. Откинувшись на подушку и сняв ботинки, дядя Пит под нежные звуки «Мадам Баттерфляй», лившиеся из родительского стереопроектора, объяснил, что, как видно под микроскопом, сперматозоиды с мужскими хромосомами движутся гораздо быстрее, чем с женскими. Это утверждение сразу же вызвало взрыв веселья среди владельцев ресторанов и скорняков, собравшихся в нашей гостиной. Однако мой отец принял свою излюбленную позу «Мыслителя», миниатюрная копия которого стояла на телефонном столике в противоположном конце комнаты. И хотя этот вопрос обсуждался в свободной манере послеобеденного отдыха, все понимали, несмотря на абстрактную тональность дискуссии, что речь идет о сперматозоидах моего отца. Дядя Пит поставил точки над «i», объяснив, что если супружеская пара хочет родить девочку, то «сексуальный контакт должен произойти за двадцать четыре часа до овуляции». Тогда «мужские» сперматозоиды успеют погибнуть, а медлительные, но более живучие «женские» в нужный момент достигнут своей цели.

Отцу не без труда удалось уговорить мою мать последовать этой схеме. Тесси Зизмо была девственницей, когда в свои двадцать два года вышла замуж за Мильтона Стефанидиса. Их обручение, совпавшее с началом Второй мировой войны, было абсолютно целомудренным. Моя мать гордилась тем, что ей удалось разжечь и тут же пригасить пламя страсти, поддерживая тлеющий огонь на протяжении всего глобального катаклизма. В общем-то, это не составляло особого труда, так как она жила в Детройте, а Милтон учился в Военно-морской академии в Аннаполисе. Больше года Тесси ставила свечи в греческой церкви за здоровье своего жениха, а Милтон любовался ее фотографиями, прикрепленными над его койкой. Ему нравилось фотографировать Тесси как кинозвезду – сбоку, одна нога на высоком каблуке стоит на ступеньке так, чтобы была видна другая, обтянутая черным чулком. Моя мать выглядит поразительно подавляющей на этих старых снимках, словно ничто не доставляло ей большего удовольствия, чем позировать на фоне крылец и фонарных столбов своему жениху в армейской форме.

Она уступила лишь после капитуляции японцев. И с того самого дня, как мне по секрету сообщил брат, мои родители регулярно и с удовольствием занимались любовью. Однако относительно детей у моей матери были свои соображения. Она считала, что эмбрион ощущает то количество любви, с которым он был зачат. Поэтому предложение отца ее не слишком устраивало.

– Ты что, относишься к этому как к Олимпийским играм, Милт?

– Мы просто рассматривали этот вопрос с теоретической точки зрения, – сказал отец.

– Что дядя Пит может знать о детях?

– Он читал одну статью в «Американской науке», – ответил Милтон и для убедительности добавил: – Он подписывается на этот журнал.

– Знаешь, если у меня заболит спина, я к нему обращусь. Или если у меня разовьется плоскостопие, как у тебя, я тоже схожу к нему. Но не более.

– Это было доказано. С помощью микроскопа. «Мужские» сперматозоиды двигаются быстрее.

– Думаю, они не только быстрее, но и глупее.

– Ну началось. Тебе бы только их обругать. Ни в чем себе не отказывай. Они нам все равно не нужны. Нам нужен добрый старый медленный «женский» сперматозоид.

– Все равно это смешно. Я же не часовой механизм, Милт.

– Мне это будет сложнее, чем тебе.

– Ничего не желаю слышать.

– А мне казалось, что ты хочешь дочь.

– Хочу.

– Значит, так мы ее и получим.

Тесси только со смехом отмахнулась. Однако за ее сарказмом таились серьезные нравственные сомнения. Вмешательство в столь таинственный процесс, как рождение ребенка, представлялось ей непозволительным высокомерием. К тому же Тесси не верила, что это возможно. А если и возможно, то, считала она, делать этого не следует.

Конечно, рассказчик вроде меня – ведь я еще и зачат-то не был – не может ни за что ручаться. Я могу объяснить эту манию, появившуюся у моего отца весной 1959 года, лишь как один из симптомов общей веры в прогресс, которой тогда было охвачено все население Америки. Всего два года назад в космос запустили спутник. Полиомиелит, обрекавший в детстве моих родителей на летние заточения, был побежден с помощью вакцины Солка. Никто тогда еще не догадывался, что вирусы окажутся умнее людей, и все считали, что скоро они станут достоянием прошлого. В эту оптимистическую, послевоенную эпоху Америки, конец которой я захватил, каждый считал себя хозяином собственной судьбы, и не было ничего удивительного, что мой отец хотел быть именно таким. Через несколько дней после того, как Мильтон поделился своим планом с Тесси, он вернулся домой с подарком. Это была ювелирная коробочка, перевязанная лентой.

– Это для чего? – с подозрением осведомилась Тесси.

– Что значит «для чего»?

– Сегодня не день моего рождения. И не годовщина свадьбы. Так с чего бы тебе вдруг делать мне подарок?

– А что, для этого нужны какие-то особые причины? Ну, давай. Открывай.

Тесси, глядя с недоверием, закусила губу. Но устоять перед ювелирной коробочкой, когда держишь ее в руках, довольно трудно. В конце концов она развязала ленту и открыла.

На черном бархате лежал термометр.

– Термометр, – промолвила моя мать.

– Это не простой термометр, – пояснил Мильтон. – Мне пришлось обойти три аптеки, прежде чем я нашел то, что нужно.

– Какая-то особенно дорогая модель?

– Да, – ответил Мильтон. – Это базальный термометр: он измеряет температуру с точностью до одной десятой градуса. – Он наморщил лоб. – У обычных термометров точность одна пятая градуса. А этот ловит каждую десятую. Попробуй. Возьми его в рот.

– У меня нет температуры, – сказала Тесси.

– Дело не в температуре. Им пользуются для того, чтобы определить базальную температуру. Он гораздо точнее обычного градусника.

– В следующий раз подари мне ожерелье.

Но Мильтон не уступал.

– Тесс, температура твоего тела постоянно меняется. Может, ты и не замечаешь, но это так. Ты находишься в постоянном движении. Ну вот, например, – легкое покашливание – у тебя происходит овуляция. И тогда твоя температура повышается. Обычно на шесть десятых градуса. Таким образом, если мы хотим прибегнуть к системе, о которой мы недавно говорили, – все более распаяясь, продолжал отец, не обращая внимания на то, что мама хмурится, – тебе сначала надо будет определить свою базальную температуру. Совершенно не обязательно, что она будет составлять тридцать семь градусов, у всех есть небольшие различия. Это я тоже узнал у дяди Пита. Как бы там ни было, установив свою базальную температуру, дальше ты начинаешь следить, когда она поднимется на шесть десятых градуса. И именно в этот момент, если мы хотим все это проверить, ну, ты понимаешь, тогда мы идем и смешиваем свой коктейль.

Моя мать ничего не ответила. Она положила термометр обратно в футляр, закрыла его и вернула мужу.

– Ладно, – сказал он. – Хорошо. Поступай как знаешь. И у нас будет еще один мальчик. Номер два. Если хочешь, пусть будет так.

– Пока я не уверена, что у нас вообще кто-нибудь будет, – ответила моя мать.

А я тем временем дожидался своего часа в прихожей жизни. И ни единого проблеска в отцовских глазах – он сидит и мрачно смотрит на термометр. Мама поднимается с козетки и, прижав ладонь ко лбу, направляется к лестнице, что делает вероятность моего появления на свет все более сомнительной. Отец обходит дом, выключает свет и запирает двери. Но когда он поднимается наверх, для меня снова начинает брезжить надежда. Время идеально подходит для того, чтобы сделать меня таким, каков я есть. Еще час – и набор генов будет уже иным. Мое зачатие еще впереди, и тем не менее мои родители уже приступили к своему медленному проникновению друг в друга. В верхнем коридоре горит ночник в форме Акрополя, подаренный Джеки Халас, которая владеет сувенирной лавкой. Когда отец входит в спальню, мама сидит за туалетным столиком. Двумя пальцами она накладывает на лицо ночной крем и промакивает его салфеткой. Стоит моему отцу сказать ласковое слово, и она простит его. И тогда в эту ночь мог бы быть зачат не я, а кто-нибудь другой. Бесчисленное количество возможных личностей толпится на пороге, и среди них я, и ни у кого нет гарантированного входного билета. Медленно ползет время, и планеты с обычной скоростью вершат свой путь в небесах, и меняется погода, ибо моя мать, боящаяся гроз, наверняка прильнула бы к отцу, пойдя в эту ночь дождь. Но нет, небо всю ночь упорно было чистым, соперничая в упрямстве с моими родителями. Свет в спальне погас, и каждый улегся на свою сторону кровати. «Спокойной ночи», – произнесла мама. «Увидимся утром», – ответил отец. И все, что предшествовало моему зачатию, встает на свои места, словно в соответствии с каким-то заранее разработанным планом. Возможно, именно потому я так часто думаю об этом.

В следующее воскресенье моя мать повела Дездемону и брата в церковь. Отец никогда не ходил с ними – в восемь лет он стал вероотступником из-за непомерных цен на поминальные свечи. А дед предпочитал по утрам заниматься переводом на новогреческий «восстановленных» поэм Сапфо. Несмотря на повторявшиеся инсульты, он семь лет провел за письменным столом, соединяя легендарные фрагменты в единое мозаичное полотно, добавляя строфу там, коду здесь, скрепляя их анапестами и ямбами. А по вечерам дед слушал бордельную музыку и курил свой кальян.

В 1959 году греческая православная церковь Успения располагалась на Шарлевуа. Именно там почти через год меня крестили, и там я был обращен в православную веру. Священники, которых присылали в эту церковь из Константинопольской патриархии, сменялись довольно часто: они прибывали облеченные властью, в нарядных одеяниях, соответствовавших их сану, но проходило время – как правило, полгода, – и они начинали уставать от постоянных ссор между прихожанами, нападков и критики в свой адрес и необходимости умирять верующих, которые вели себя в церкви как болельщики на стадионе, а главное – оттого, что каждый раз приходилось служить дважды: сначала на греческом, а вслед за этим на английском. Так шла жизнь в церкви Успения, с ее одухотворенными кофепитиями, с протекающей крышей и прогнившим фундаментом, с жалкими национальными празднествами и уроками катехизиса, которые поддерживали еле теплившееся в нас православное наследие, обреченное на гибель в великой диаспоре. Тесси со своими спутниками прошла по центральному проходу, минуя подносы с песком для свечей. Наверху, как огромный поплавок на параде в честь Дня благодарения, парил Христос Вседержитель. Вырезанный на куполе, он охватывал все пространство. И в отличие от страждущих и земных Иисусов, изображенных на стенах, этот был совершенным и всемогущим властителем жизни нездешней. Он простирали руки к апостолам над алтарем,

которые держали свитки из овечьих шкур с записанными на них Евангелиями. И моя мать, всю жизнь безуспешно пытавшаяся в него поверить, подняла глаза в надежде на помощь.

Глаза Вседержителя блеснули в тусклом свете. Они словно притягивали к себе Тесси. Сквозь поднимавшиеся вверх воскурения глаза Спасителя сияли, как телеэкраны, транслирующие события недавнего прошлого...

Сначала Тесси увидела Дездемону, которая неделю назад наставляла ее. «Зачем тебе еще дети, Тесси? – осведомилась она с деланным равнодушием и заглянула в духовку, чтобы скрыть свою обеспокоенность, для которой не было никаких оснований в течение последующих шестнадцати лет. – Чем больше детей, тем больше неприятностей...»

Затем появился наш престарелый семейный врач доктор Филобозян. Его вердикт, подкрепленный древними дипломами, был таков: «Ерунда. „Мужские“ сперматозоиды двигаются быстрее? Послушайте! Первым человеком, который увидел сперматозоид под микроскопом, был Левенгук. И вы знаете, кого они ему напомнили? Червяков!...»

Тут снова появилась Дездемона, уже с новым взглядом на вещи: «Господь решит, кто это будет, а не вы...»

И на протяжении бесконечной воскресной службы все эти сцены мелькали перед внутренним взором моей матери. Прихожане вставали и садились. Отец Майк выходил из-за алтаря и размахивал кадиллом. Моя мать пыталась молиться, но у нее ничего не получалось, и она еле-еле дождалась кофе.

С двенадцатилетнего возраста Тесси не могла начать день по меньшей мере без двух чашек крепкого, черного как смоль кофе, к которому пристрастилась, общаясь с капитанами старых буксиров и франтоватыми холостяками, обитавшими в пансионе, где она выросла. Уже став старшекласницей, она устраивалась рядом с шоферней в столовке, чтобы успеть выпить кофе до начала первого урока. И пока те рассматривали ее цветущие формы, она заканчивала домашнее задание. И теперь, выйдя из церкви, Тесси попросила Пункт Одиннадцать пойти поиграть с ребятами, пока сама она не подкрепит чашечкой кофе.

Она приступила уже ко второй чашке, когда нежный женственный голос прошептал ей на ухо: «Доброе утро, Тесси». То был ее свояк отец Майкл Антониу.

– Привет, отец Майк. Сегодня была прекрасная служба, – ответила Тесси и тут же пожалела о сказанном. Отец Майк был дьяконом. После отъезда последнего священника, вернувшегося в Афины спустя три месяца, вся семья возлагала большие надежды на повышение отца Майка. Однако в результате место получил еще один пришлый священник, отец Григориос. По этому поводу тетя Зоя, никогда не упускавшая случая оплакать свое замужество, заявила за обедом театральным тоном: «Вечно на подхвате».

Похвалив службу, Тесси совершенно не хотела сделать этим комплимент отцу Грегу. Ситуация осложнялась еще и тем, что много лет назад Тесси и Майкл Антониу были помолвлены и собирались пожениться. А теперь она была замужем за Мильтоном, а отец Майк женился на его сестре. Тесси спустилась всего лишь выпить кофе, а день уже пошел наперекосяк.

Однако отец Майк, похоже, не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Он стоял и, нежно улыбаясь, смотрел на Тесси. Будучи доброжелательным и мягким человеком, отец Майк пользовался особой любовью у местных вдов. Они постоянно толпились вокруг него, угощая домашним печеньем и купаясь в ауре его благодати. Частично эта благодать проистекала из его полной удовлетворенности своим ростом, который составлял всего лишь пять футов четыре дюйма. Низкий рост придавал ему особенно милосердный вид, словно он намеренно не хотел расти. Казалось, он давно забыл о том, что Тесси расторгла их помолвку, и все же между ними всегда что-то витало, как тальк, пробивавшийся иногда из-под его клерикального воротничка.

– Как дела дома, Тесси? – улыбаясь, спросил отец Майк, осторожно поддерживая блюдечко и чашечку с кофе.

Естественно, моя мать знала, что отец Майк, наш постоянный воскресный гость, был в курсе истории с термометром. И когда она посмотрела ему прямо в глаза, ей показалось, что в них промелькнула легкая насмешка.

– Ты же будешь у нас сегодня, – беззаботно ответила она. – Вот сам все и увидишь.

– Жду с нетерпением, – заметил отец Майк. – Мы всегда ведем такие интересные разговоры в вашем доме.

Тесси снова посмотрела отцу Майку в глаза, но на этот раз они излучали искреннюю симпатию. А потом что-то отвлекло ее.

В другом конце комнаты Пункт Одиннадцать залез на стул и попытался дотянуться до кофейника, чтобы налить себе кофе. Но, повернув краник, он никак не мог его закрыть. Обжигающий кофе полился на стол, обрызгав стоявшую рядом девочку. Та отскочила, открыла рот, но не произнесла ни звука. Моя мать бросилась к девочке и потащила ее в дамскую комнату.

Никто не мог вспомнить, как ее зовут, поскольку девочка не была постоянной прихожанкой. Даже не была гречанкой. Ее видели в церкви только в этот день, и, кажется, она никогда больше там не появлялась, словно единственной целью ее было изменить ход мыслей моей матери. Девочка стояла в ванной, стягивая с тела мокрую одежду, от которой шел пар, а Тесси непрерывно смачивала полотенца.

– С тобой все в порядке, милая? Ты не очень обожглась?

– Этот мальчик, он такой неуклюжий, – промолвила девочка.

– Да уж. Вечно куда-то лезет.

– Мальчики бывают такими своевольными.

Тесси улыбнулась:

– Какие слова ты знаешь!

От этой похвалы девочка расплылась в улыбке.

– «Своевольный» – это мое любимое слово. У меня брат очень своевольный. А в прошлом месяце моим любимым словом было «велеречивый». Но его не удастся часто использовать. Мало что можно назвать велеречивым.

– Ты абсолютно права, – рассмеялась Тесси. – А со своеволием сталкиваешься повсюду.

– Совершенно с вами согласна, – кивнула девочка.

Прошло две недели. Наступило пасхальное воскресенье 1959 года. Наша религиозная приверженность к юлианскому календарю снова разделила нас с соседями. За две недели до этого мой брат наблюдал, как все дети нашего квартала охотились за крашеными яйцами в близлежащих кустах, как его друзья поедали головы шоколадных зайцев и забрасывали пригоршни железных бобов в свои кариозные пасточки. (И, глядя на это из окна, он больше всего хотел верить в американского бога, который умер тогда, когда надо.) Пункт Одиннадцать только накануне начал красить яйца, да и то в один цвет – красный. Остальные яйца в доме уже поблескивали во все удлинявшихся лучах весеннего равноденствия. Миски с яйцами заполнили весь обеденный стол. Яйца висели в вязаных мешочках в дверных проемах, громоздились на каминной полке, их запекали в чуреки² в форме креста.

Но сейчас обед уже закончился, день клонится к вечеру. Мой брат улыбается, потому что теперь наступает та часть греческой Пасхи, которая не может сравниться ни с охотой за яйцами, ни с железными бобами, – начинается соревнование на самое крепкое яйцо. Все собираются вокруг стола. Закусив губу, Пункт Одиннадцать выбирает себе яйцо, осматривает его и кладет на место. Берет следующее.

– Кажется, это ничего, – замечает Мильтон, тоже выбирая яйцо. – Настоящая броневой машина.

² Чурек – от турецк. «хлеб» – лепешка. – *Здесь и далее примеч. ред.*

Пункт Одиннадцать готовится к нападению. И в этот момент моя мать неожиданно похлопывает отца по спине.

– Минуточку, Тесси. Мы здесь собираемся сразиться.

Она похлопывает его сильнее.

– Что?

– Температура. – Она умолкает. – Повысилась на шесть десятых.

Она начала-таки пользоваться термометром. Отец ошеломлен.

– Сейчас? – шепотом спрашивает он. – Господи, Тесси, ты уверена?

– Ты велел мне следить за температурой, и я говорю тебе, что она повысилась на шесть десятых градуса. К тому же прошло уже тринадцать дней с того времени, как ты... сам знаешь что, – добавляет она, понизив голос.

– Ну давай, папа, – канючит Пункт Одиннадцать.

– У меня нет времени, – отвечает Мильтон и кладет свое яйцо в пепельницу. – Это мое яйцо, и не смейте трогать его, пока я не вернусь.

И мои родители совершают все необходимое наверху в своей спальне. Природная детская скромность мешает мне представить себе эту сцену во всех подробностях. Разве что одна деталь: когда все закончено, мой отец произносит: «Ну вот, теперь должно получиться». И он оказался прав. В мае Тесси узнала о том, что забеременела, и началось долгое ожидание.

В шесть недель у меня уже были глаза и уши. В семь – ноздри и губы. В то же время начали формироваться мои половые органы. Эмбриональные гормоны, подчиняясь хромосомным сигналам, начали подавлять структуры Мюллера и способствовать развитию каналов Вольфа. Мои двадцать три пары хромосом соединяются и скручиваются, вращаясь, как колесо рулетки, в то время как папочка кладет свою руку на мамин живот и произносит: «На счастье!» Выстроившись ровными рядами, мои гены в точности выполняют полученные распоряжения. Все, за исключением пары отщепенцев – или революционеров, в зависимости от того, как вы на это смотрите, – которые скрываются в хромосоме под номером пять. Вместе взявшись за дело, они истребляют энзим, препятствующий выработке определенного гормона, и тем самым сильно усложняют мне жизнь.

Мужчины в гостиной перестают говорить о политике и вместо этого делают ставки на то, кто родится у Милта – мальчик или девочка. Мой отец абсолютно уверен. Через двадцать четыре часа после соития температура у мамы повышается еще на две десятых, подтверждая овуляцию. К этому времени «мужские» сперматозоиды уже измождены. А «женские», как черепахи, выигрывают забег. (В этот момент Тесси вручает Мильтону термометр и заявляет, что больше никогда не хочет его видеть.)

Все это предшествовало тому дню, когда Дездемона вращала ложечку над животом моей матери. Ультразвук еще не открыли, поэтому приходилось использовать кухонную утварь. Дездемона садится на корточки. Кухня погружается в гробовую тишину. Женщины смотрят и ждут, закусив губу. Сначала ложка вообще не движется. Рука у Дездемоны дрожит, и у тети Лины уходит несколько секунд на то, чтобы привести ложку в равновесие. Затем ложка начинает вращаться, я брыкаюсь, мама вскрикивает. И вот, словно от невидимого ветерка, ложка начинает раскачиваться, описывать круги, которые постепенно превращаются в эллипс, а затем продолжает свое движение по прямой линии, один конец которой указывает на печь, а другой – на скамейку. Другими словами – с севера на юг.

– Корос! – выкрикивает Дездемона. И вся кухня заполняется криками: «Корос! Корос!»

– Могу поспорить, что она ошиблась, – произносит ночью отец. – Двадцать три безошибочных прогноза – это слишком много. Поверь мне.

– Я совсем не против мальчика, – отвечает мама. – Главное, чтобы оно было здоровым, с десятью пальчиками на ручках и на ножках.

– Что значит «оно»?! Между прочим, ты говоришь о моей дочери.

Я родился через неделю после Нового года, 8 января 1960 года. «Ура!» – вскричал мой отец, дожидавшийся в приемном отделении и запасшийся сигарами исключительно с розовыми ленточками. Я оказался девочкой. Длиной девятнадцать дюймов. И весом семь фунтов четыре унции.

В тот же день, 8 января, с моим дедом случился первый из его тринадцати инсультов. Разбуженный моими родителями, спешившими в больницу, он встал и спустился вниз, чтобы приготовить себе кофе. А часом позже Дездемона обнаружила его лежащим на полу кухни. И хотя его умственные способности не пострадали, в тот самый момент, когда я издал свой первый крик в родильном отделении, мой дед лишился дара речи. По словам Дездемоны, удар случился с ним в ту минуту, когда, допив кофе, он перевернул чашку, чтобы погадать на кофейной гуще.

Дядя Пит, узнав про мой пол, отказался принимать какие-либо поздравления. Все это было научно обоснованным. «К тому же это исключительно заслуга Милта», – пошутил он. Дездемона насупилась. Ее американский сын оказался прав, и это новое поражение еще больше отдаляло от нее страну, в которой она по-прежнему пыталась жить и от которой было по-прежнему четыре тысячи миль и тридцать пять лет. Мое появление на свет положило конец гаданиям моей бабки и ознаменовало начало длительного периода увядания ее мужа. И хотя в руках у нее то и дело появлялась шкатулка, серебряная ложечка уже более не оказывалась среди сокровищ.

Меня изъяли из чрева, хлопнули по попке и ополоснули, после чего завернули в одеяльце и положили на каталку рядом с шестью другими младенцами – четырьмя мальчиками и двумя девочками, пол которых, в отличие от меня, был определен на бирках правильно. И хотя этого не может быть, я отлично помню, как темное пространство медленно заполняется искрами.

Это кто-то включил мое зрение.

Сватовство

Когда эта история увидит свет, я, возможно, стану самым известным гермафродитом в мире. Я не первый и не последний. Алексина Барбен, перед тем как стать Авелем, училась в женском пансионе во Франции. Она оставила свою автобиографию, которая была обнаружена Мишелем Фуко в архивах французского департамента общественной гигиены. Ее мемуары, которые она закончила незадолго до самоубийства, крайне скудны, и именно знакомство с ними подвигло меня написать свои собственные. Готлиб Гётлих, родившийся в 1798 году, до тридцатитрехлетнего возраста являлся Мари Розиной, пока однажды из-за болей в животе не вынужден был обратиться к врачу. Доктор заподозрил грыжу, но вместо этого обнаружил неопустившиеся яички. И с тех пор Мари начала носить мужскую одежду, взяла имя Готлиб и сколотила неплохое состояние, путешествуя по Европе и показываясь разным ученым мужам.

Что касается меня, то, с точки зрения медиков, я даже лучше, чем Готлиб. Благодаря влиянию зародышевых гормонов на гистологию и химию мозга, у меня сформировалось мужское сознание. Но воспитали меня как девочку. Если бы кто-нибудь захотел провести эксперимент по выяснению соотношения природы и воспитания, лучшего образчика, чем я, ему бы найти не удалось. Во время моего пребывания в клинике более двадцати лет назад доктор Люс подверг меня целой серии разнообразных опытов. Я проходил тест Бентона на зрительную память и гештальт-тест Бендера на зрительную моторику. У меня измеряли вербальный коэффициент интеллекта и множество других вещей. Люс даже анализировал стиль моего письма, чтобы выяснить, свойственна ли мне линейная мужская манера изложения или кольцевая женская.

Но я знаю только одно: несмотря на мое мужское сознание, в истории, которую я собираюсь рассказать, есть определенная женская закольцованность. Я оказался последним придаточным предложением во фразе с большим количеством периодов, и эта фраза началась давным-давно и на другом языке, поэтому, если хотите добраться до конца, то есть до моего появления на свет, вам придется прочесть ее с самого начала.

А потому, не успев родиться, я хочу перемотать пленку назад, так, чтобы с меня слетело мое розовое одеяльце, опрокинулась люлька, чтобы ко мне снова приросла пуповина и я с криком был бы втянут обратно в чрево моей матери, чтобы оно снова раздулось до прежних размеров. И еще дальше: туда, где замирает ложечка, а термометр укладывается обратно на свое бархатное ложе. Спутник возвращается к запустившей его установке, и полиомиелит снова начинает властвовать на земле. Вот моментальный снимок моего отца – двадцатилетнего кларнетиста, исполняющего музыку Арти Шоу, а вот он же – восьмилетний – в церкви возмущается стоимостью свечей. Далее идет мой дед: он получает свой первый доллар в кассе в 1931 году. А вот нас уже нет в Америке – мы плывем по океану, – только саундтрек при перемотке звучит очень странно. Я вижу пароход со спасательной шлюпкой, забавно покачивающейся на палубе, потом она соскальзывает вниз, кормой вперед, и вот мы снова на суше; здесь лента меняет направление, и все начинается сначала...

* * *

В конце лета 1922 года моя бабка Дездемона Стефанидис предсказывала не роды, а кончины, в частности свою собственную. Она была на своей тутовой плантации высоко на склоне Олимпа в Малой Азии, когда ее сердце без всяких предупреждений внезапно начало давать сбои. Она отчетливо ощутила, как оно остановилось и сжалось в комочек. А когда она выпрямилась, снова заколотилось с бешеной скоростью, пытаясь выпрыгнуть из груди. Она изумленно вскрикнула, и ее двадцать тысяч гусениц, обладающих повышенной чувствительностью к человеческим эмоциям, тут же перестали прясть свои коконы. Моя бабка сощурилась в суме-

речном свете и увидела, что ее кофта совершенно очевидно ходит ходуном, и тут, осознав происходящий в ней переворот, Дездемона и превратилась – на всю оставшуюся жизнь – в глубоко больного человека, заключенного в абсолютно здоровое тело. Не в силах поверить в собственную выносливость, несмотря на то, что сердце уже успокоилось, она ушла с плантации и в последний раз оглядела тот мир, с которым ей предстояло проститься на следующие пятьдесят восемь лет.

Зрелище было впечатляющим. В тысяче футах под ней на зеленом войлоке долины, как доска для игры в триктрак, раскинулась древняя столица Оттоманской империи Бурса. Красные рубины черепицы окаймлены бриллиантами выбеленных стен. Там и тут яркими фишками возвышались гробницы султанов. Улицы еще не были загромождены транспортом, а фуникулеры не прорезали просеки в сосновых борах, покрывавших склоны горы. Металлургические и текстильные производства еще не успели обступить город и заполнить его ядовитым смогом. В те дни, по крайней мере с высоты в тысячу футов, Бурса выглядела так же, как предшествующие шесть веков, – святой город, усыпальница Оттоманской империи и центр торговли шелком, с тихими, спускающимися вниз улицами, обрамленными минаретами и кипарисами. Мозаика Зеленой мечети с годами стала голубой, но это ее ничуть не портило. Однако Дездемона Стефанидис, следящая за игрой издалека, видела то, что было недоступно игрокам.

Если проанализировать сердечный трепет моей бабки, то его можно было бы определить как проявление скорби. Ее родители были мертвы – убиты во время недавней войны с турками. Греческая армия при поддержке Объединенных Наций в 1919 году вторглась в Западную Турцию и заявила свои претензии на исконно греческую территорию в Малой Азии. После многих лет замкнутой жизни на Олимпе население Вифинии, где выросла моя бабка, вдохновилось Великой Идеей и мечтой о создании Великой Греции. Теперь Бурсу осаждали греческие войска и флаг Греции реял над бывшим оттоманским дворцом. Турки под предводительством Мустафы Кемалю отошли на восток, к Ангоры. И впервые на их памяти греки Малой Азии освободились от турецкого владычества. Никто больше не запрещал гяурам («неверным псам») носить яркую одежду, ездить верхом и пользоваться седлами. В деревню, как это происходило в течение нескольких последних веков, перестали приезжать турецкие чиновники, забиравшие самых сильных юношей в янычары³. И теперь, когда мужчины везли шелк на рынок Бурсы, они чувствовали себя свободными греками в свободном греческом городе.

Однако Дездемона, оплакивавшая своих родителей, все еще жила прошлым. Поэтому она смотрела со склона на освобожденный город и чувствовала, что не способна ощущать себя такой же счастливой, как все остальные. Много лет спустя, уже овдовев, она, более десяти лет прикованная к постели, в которой бодро пыталась умереть, призналась наконец, что два года между войнами почти полвека тому назад были единственным счастливым временем ее жизни; но уже никого из знакомых не было в живых, и она могла поделиться этим откровением только с телевизором.

Пытаясь справиться со своим предчувствием, Дездемона почти целый час провела на плантации. Покинув дом через заднюю дверь, она миновала благоухающий виноградник и дворик с террасами и вошла в низенькую хижину с соломенной крышей. Ее не смутил едкий запах личинок. Эта плантация была личным зловонным оазисом моей бабки. Висевшие под потолком связки тутовых веток были плотно облеплены мягкими белыми шелколичинными червями. Дездемона смотрела, как они прядут свои коконы, покачивая головками, словно в такт музыке. Глядя на них, она вовсе позабыла о внешнем мире, о происходящих в нем переменах и потрясениях, о его новых и страшных мелодиях (которые вот-вот должны были огласить пространство). А вместо этого услышала голос своей матери Ефросиньи Стефанидис: много лет назад на этом же самом месте та посвящала ее в тайны шелководства: «Для того чтобы шелк был

³ Янычары – пехота в Османской империи.

хорошим, ты сама должна быть чиста, – говорила она своей дочери. – Шелкопряды всё чувствуют. По их шелку всегда можно узнать, что задумал человек». Далее Ефросинья приводила примеры: «Вот Мария Пулос, которая готова перед каждым задрать свою юбку. Ты видела, как выглядят ее коконы? На них пятна от каждого мужчины, с которым она имеет дело. В следующий раз обрати внимание». Дездемоне было тогда лет одиннадцать или двенадцать, и она верила каждому слову матери, да и теперь, в свои двадцать, она не могла полностью отменить ее поучения, а потому принялась рассматривать созвездия коконов, нет ли там признаков нечестивых поступков (даже если она их совершала в своих снах). Однако ее волновало не только это, так как мать в свое время утверждала, что шелкопряды также реагируют на социальные зверства и жестокость. После каждой резни, даже в деревнях, расположенных на расстоянии пятидесяти миль, нити шелкопрядов приобретали цвет крови. «Я видела, они кровоточили, как ноги Христа», – говорила Ефросинья. И теперь, много лет спустя, ее дочь, прищурившись в тусклом свете, рассматривает, не покраснели ли коконы. Она вытаскивает один поднос, встряхивает его, вытаскивает другой и как раз в этот момент чувствует, что сердце у нее останапливается, сжимается в комок и начинает рваться наружу. Она роняет поднос, видит, как ее рубашка под действием какой-то внутренней силы начинает трепетать, и понимает, что ее сердце живет само по себе, что оно ей не подвластно, впрочем, как и все остальное.

Тут-то моя бабка, пережив первый приступ воображаемой болезни, устремила свой взор на Бурсу, словно там искала видимое подтверждение неких эфемерных опасений. Однако она получила подтверждение в звуковой форме – именно в этот момент из дома донеслось пение ее брата Элевтериоса Стефанидиса (Левти). На плохом английском он пел какую-то бессмыслицу.

«Нам скучно и утром, и вечером», – пел Левти, стоя в их спальне перед зеркалом; он делал это каждый день в одно и то же время – прикреплял целлулоидный воротничок к своей новой белой рубашке и, выдавив на ладонь пахнувший лимоном бриолин, приглаживал свою новую стрижку а-ля Валентино. «И сейчас, и между делом скучно нам», – продолжал он. Слова для него не имели никакого смысла, зато мелодия... Она говорила ему о фривольности новой эпохи джаза, о коктейлях, о продавщицах сигарет, она заставляла его щегольски зализывать волосы назад, в то время как у Дездемоны его пение вызывало совсем иные чувства. Она представляла себе сомнительные бары, которые посещал ее брат в городе, где курили гашиш и исполняли американскую музыку, где пели распутные женщины (Левти тем временем надевает новый костюм в полоску и вкладывает в карман пиджака красный носовой платок, гармонирующий с его красным галстуком), и внутри у нее зарождалось какое-то странное чувство, от которого становилось щекотно в животе, – смесь обиды, горечи и еще чего-то без названия и более всего доставлявшего боль. «У нас нет денег и машины, дорогая», – мурлыкал Левти слащавым тенором, который я унаследовал от него; а в ушах Дездемоны уже снова звучал голос матери – последние слова Ефросиньи Стефанидис, которые та произнесла, умирая от огнестрельного ранения: «Позаботься о Левти. Обещай мне. Найди ему хорошую жену!» – и голос самой Дездемоны, отвечавшей сквозь слезы: «Обещаю! Обещаю!» Все это одновременно звучало в ее голове, когда она направлялась к дому. Она вошла в крохотную кухню, где готовила обед (на одну персону), и тут же направилась в спальню, которую делила с братом. «Мы без монет в кармане, а потому, родная... – продолжал он петь, застегивая запонки и расчесывая на пробор волосы, и тут увидел свою сестру, – нам скучно, скучно нам», – допел он пианиссимо и умолк.

На мгновение в зеркале отразились лица обоих. В свои двадцать лет, еще без плохо подогнанных вставных челюстей и выдуманной инвалидности, моя бабка была настоящей красавицей. Она заплетала свои черные волосы и убирала косы под платок. Не изящные девчоночьи косички, а тяжелые женские косы, источающие природную силу и похожие на хвост бобра. Эти косы вобрали в себя все двадцать лет ее жизни со сменой времен года и погодными катаклизмами, и, когда она расплетала их по вечерам, волосы падали до самого пояса. Но теперь

в них были вплетены черные шелковые ленты, отчего косы сделались еще более величественными, – впрочем, под платком мало кто их видел. Доступным для всеобщего обозрения оставалось лишь бледное восковое лицо Дездемоны с огромными печальными глазами. Не могу не упомянуть без зависти, которую испытывала некогда плоскогрудая девчонка, и роскошную фигуру Дездемоны. Ее тело приводило в смущение. Оно заявляло о себе совершенно независимо от ее желания. Оно то и дело вырывалось из узилища ее тусклых тесных одежд – в церкви, когда она опускалась на колени, во дворе, где она выбивала ковры, в саду, когда она собирала персики. Выражение ее лица в обрамлении туго затянутого платка оставалось отстраненным, словно она сама была смущена тем, что вытворяли ее груди и бедра.

Элевтериос был выше ее и худее. На фотографиях того времени он выглядит как одна из тех криминальных личностей, которые он тогда идеализировал, – игроки и воры с тонкими усиками, заполнявшие прибрежные бары Афин и Константинополя. Пронзительный взгляд, нос с горбинкой – всем своим видом он напоминал ястреба. Однако, когда он улыбался, взгляд его теплел и сразу становилось понятно, что Левти никакой не гангстер, а избалованный, не знающий жизни сынок вовремя почивших родителей.

Но в тот летний день 1922 года Дездемона не смотрела на лицо своего брата. Она изучала его пиджак, набриолиненные волосы, брюки в полоску и пыталась понять, что же с ним произошло за несколько последних месяцев.

Левти был на год младше Дездемоны, и она часто недоумевала, как ей удалось прожить этот год без него. Сколько она себя помнила, он всегда был рядом, на соседней кровати за килимом⁴, который их разделял. Из-за этой ширмы он показывал кукольные представления, и тогда его руки превращались в хитрого горбуна Карагиозиса – тот всегда одурачивал турок. В темноте он сочинял стихи и пел их только для себя, что было одной из причин неприязни Дездемоны к его новым американским песням. Она любила его так, как только сестра может любить брата: он был ее утешением, другом и наперсником, они вместе отыскивали короткие горные тропинки и пещеры отшельников. Их духовное родство было настолько всеобъемлющим, что иногда она забывала о том, что они два разных человека. В детстве они карабкались по горным террасам как четырехное двуглавое существо. Она привыкла видеть их сиамскую тень, появлявшуюся на беленой стене дома по вечерам, а когда видела только собственную, ей казалось, что от нее отрезали половину.

Но наступивший мир все изменил. Левти начал пользоваться предоставленной ему свободой. За последний месяц он спускался в Бурсу уже семнадцать раз. А три раза даже оставался ночевать в таверне «Кокон», напротив мечети султана Ухана. Однажды Левти ушел в ботинках, гетрах, бриджах и рубашке, а вернулся на следующий вечер в костюме в полоску, с шелковым шарфом, повязанным вокруг шеи, как у оперного певца, и в черном котелке. Помимо этого с ним произошли и другие перемены. Он начал учить французский по маленькому разговорнику в сиреневой обложке. У него появились театральные жесты: он то засовывал руки в карманы и звенел там мелочью, то снимал шляпу. А когда Дездемона стирала, находила в его карманах клочки бумаги, исписанные цифрами. От его одежды пахло мускусом, табачным дымом и чем-то сладким.

И сейчас по их лицам, отраженным в зеркале, было видно, что они все больше отдалялись друг от друга. И тогда моя бабушка, на челе которой уже сходились грозовые тучи, готовые разразиться грандиозной бурей, взглянула на своего брата, который еще недавно был ее тенью, и поняла: что-то не в порядке.

- Куда ты собираешься идти в этом костюме?
- А как ты думаешь? В Коза-Хан. Продавать коконы.
- Ты ходил вчера.

⁴ Килим – ковер (турецк.).

– Но сейчас самый сезон.

Он снова зачесал черепаховым гребнем свои волосы направо и добавил бриолина, пригладив непослушный завиток.

Дездемона подошла ближе, взяла тюбик с бриолином и понюхала его. От его одежды пахло иначе.

– Чем ты еще там занимаешься?

– Ничем.

– Но ведь ты иногда остаешься там ночевать.

– Путь не близкий. Иногда я прихожу уже затемно.

– И что ты куришь в этих барах?

– Что дают в кальянах. Об этом неприлично спрашивать.

– Если бы мама с папой узнали, что ты пьешь и куришь... – Она умолкла.

– Но ведь они не узнают, – ответил Левти. – А значит, мне ничего не грозит. – Но его легкомысленный тон звучал неубедительно. Левти вел себя так, словно ему удалось справиться со своими переживаниями после смерти родителей, но Дездемона видела его насквозь. Она мрачно улыбнулась и, не говоря ни слова, подняла кулак. Левти автоматически сделал то же, продолжая любоваться собой в зеркале. Они начали считать: «Раз, два, три... пли!»

– Камень сильнее змеи. Я выиграла. Так что давай рассказывай, – заявила Дездемона.

– Что рассказывать?

– Что такого интересного в Бурсе?

Левти снова провел гребнем по волосам и зачесал их налево, поворачивая голову то туда, то сюда и рассматривая себя в зеркале.

– Как лучше? Направо или налево?

– Дай посмотреть. – Дездемона сначала нежно притронулась к его голове и тут же разлохматила всю его прическу.

– Эй!

– Что тебе надо в Бурсе?

– Оставь меня в покое.

– Говори!

– Ах, ты хочешь знать? – воскликнул вышедший из себя Левти. – А ты как думаешь? – с плохо сдерживаемым раздражением произнес он. – Мне нужна женщина.

Дездемона прижала руки к груди, отступила на пару шагов и снова уставилась на своего брата, но уже новыми глазами. Мысль о том, что Левти, который всегда был у нее на виду и спал с ней рядом, может быть одержим таким желанием, никогда не приходила ей в голову. Несмотря на свою физическую зрелость, тело Дездемоны продолжало оставаться для нее чужим. По ночам она видела, как ее брат во сне яростно обхватывал свой веревочный матрац. А еще в детстве она иногда замечала, как он трется о деревянную подпорку в хижине с коконами, обхватив ее руками и раздвинув колени. Но все это не производило на нее никакого впечатления. «Чем это ты тут занимаешься?» – спрашивала она Левти, которому тогда было восемь или девять лет. А тот решительно и спокойно отвечал: «Хочу испытать это чувство». – «Какое чувство?» – «Ну, ты знаешь, – тяжело дыша и продолжая сгибать и разгибать колени, – то самое».

Но она не знала. Потому что это было задолго до того, как, нарезаая огурцы, Дездемона случайно прислонилась к углу кухонного стола и тут же инстинктивно налегла на него еще сильнее, после чего оказывалась в этой позе – с зажатым между ног углом стола, – каждый день. Да и теперь, занимаясь готовкой, она порой бессознательно возобновляла свое знакомство с обеденным столом. Но повинным в этом было ее тело, молчаливое и хитрое, как все тела на свете.

Походы ее брата в город были совсем иными. Похоже, он знал, что ему нужно, и находился в полной гармонии со своим телом. Его душа и тело были едины, они были одержимы одной мыслью и одной страстью, и Дездемона впервые не могла в них проникнуть; она лишь чувствовала, что не имеет к ним никакого отношения.

Это страшно злило ее. Подозреваю, что у нее случались вспышки ревности. Разве не она была его лучшим другом? Разве они не делились всеми своими тайнами? Разве она не делала для него все – шила, стирала, готовила – как родная мать? Разве не она взвалила на себя весь труд по уходу за шелковичными гусеницами, чтобы ее бесценный братик мог брать у священника уроки древнегреческого? Разве не она ему сказала: «Ты можешь заниматься книгами, а я займусь шелкопрядами. Единственное, что тебе придется делать, так это относить коконы на рынок»? И разве она жаловалась, когда он стал задерживаться в городе? Разве она упрекала его из-за этих клочков бумаги или мускусно-сладкого запаха, исходившего от его одежды? Она подозревала, что ее братец-фантазер пристрастился к гашишу. Она знала, что там, где исполняют ребетику⁵, всегда курят гашиш, но знала она и то, что Левти пытается справиться с утратой родителей и хочет изжить свое горе в облаках дурмана под звуки самой печальной музыки на свете. Она все это понимала и потому молчала. Но теперь она видела, что ее брат старается избавиться от своего горя совсем иным способом, и молчать больше не собиралась.

– Тебе нужна женщина? – изумленно переспросила Дездемона. – Какая женщина? Турчанка?

Левти не ответил. Вспышка прошла, и он снова принялся расчесывать волосы.

– Может, тебе нужна девица из гарема? Думаешь, я не знаю этих потаскух? Отлично знаю. Я не такая дура. Тебе надо, чтобы какая-нибудь толстуха трясла перед тобой своим животом? Это тебе надо? Хочешь, я тебе кое-что скажу? Знаешь, почему эти турчанки закрывают свои лица? Думаешь, это из-за их религии? Нет. Они это делают потому, что иначе на них никто смотреть не станет. Позор на твою голову, Элевтериос! – Теперь она уже кричала. – Что с тобой делается? Почему бы тебе не взять девушку из деревни?

И тут Левти, занятый чисткой своего пиджака, обратил внимание сестры, что она упустила одно важное обстоятельство:

– Может, ты не заметила, но в нашей деревне нет никаких девушек.

Что правда, то правда. Вифиния никогда не считалась большой деревней, а в 1922 году ее население и вовсе сократилось до минимума. Люди начали уезжать еще в 1913 году, когда филлоксера⁶ погубила весь кишмиш. Они продолжали уезжать на протяжении всех Балканских войн. Двоюродная сестра Левти и Дездемоны, Сурмелина, отправилась в Америку и теперь жила в городе с названием Детройт. Раскинувшаяся на пологом склоне Вифиния отнюдь не слыла опасной и ненадежной. Напротив, это была прелестная деревушка, состоящая из желтых оштукатуренных домиков с красными крышами. Два самых больших дома имели даже эркеры, нависавшие над улицей. Остальные – главным образом дома бедняков – представляли собой, в сущности, одну кухню. Но были еще и такие, как у Дездемоны и Левти, – с обставленными гостиными, двумя спальнями, кухней и европейским туалетом на заднем дворе. В Вифинии не было ни магазинов, ни почты, ни банка, зато имелась церковь и одна таверна. За покупками люди отправлялись в Бурсу, проделывая путь сначала пешком, а потом на конке.

В 1922 году в деревне насчитывалось не более сотни жителей, из них меньше половины – женщины: двадцать одна старуха, двадцать – среднего возраста, замужние, три – юные матери, каждая с дочкой в пеленках. Так что кроме его сестры оставались две девушки на выданье – их-то Дездемона и не преминула назвать.

⁵ Ребетика (*греч.*) – стиль городской авторской песни, популярный в Греции в 1920–30-е годы.

⁶ Филлоксера – вид насекомых, вредители винограда.

– Что значит: нет девушек?! А как же Люсиль Кафкалис? Очень симпатичная девушка. Или Виктория Паппас?

– От Люсиль разит за версту. Она моется раз в год. В день своих именин. А что касается Виктории, – он провел пальцем над верхней губой, – так у нее усы больше, чем у меня. Я не собираюсь пользоваться одной бритвой со своей женой. – С этими словами он отложил щетку и надел пиджак. – Не жди меня, – добавил он и вышел из спальни.

– Ну и катись отсюда! – закричала вслед ему Дездемона. – Не больно-то и надо. Только, когда твоя турецкая жена снимет чадру, не думай возвращаться!

Но Левти уже и след простыл. И звук его шагов уже затихал вдалеке. Дездемона почувствовала, как в ее крови снова начинает бурлить таинственный яд. Но она не обратила на это внимания.

– Не буду есть одна! – закричала она в пустоту.

Из долины, как и всегда в дневное время, поднимался ветер. Он залетал в открытые окна дома, гремел задвижкой на ее сундуке с приданым и играл четками. Дездемона взяла их в руки и стала перебирать одну за другой, как это делала ее мать, а до этого бабка и прабабка, выполняя тем самым семейный ритуал избавления от тревоги. Она полностью погрузилась в перестук бусинок. О чем там думает этот Бог? Почему Он забрал ее родителей и бросил одну заниматься братом? Что она могла с ним сделать? «Курит, пьет, а теперь еще и того хуже. И где он берет деньги на все эти глупости? Естественно, продавая мои коконы». И каждая проскальзывающая между пальцами бусинка становилась новым, высказанным и позабытым упреком. Дездемона с ее грустными глазами и лицом девочки, которую вынудили слишком быстро повзрослеть, полностью слилась с четками, как это случалось со всеми женщинами рода Стефанидисов – до и после нее (включая меня, если, конечно, меня можно считать женщиной).

Она высунулась из окна, прислушиваясь, как ветер шумит в соснах и березах, и продолжила перебирать четки, которые мало-помалу делали свое дело. Ей стало лучше. И она решила жить дальше. Сегодня Левти не вернется. Ну и что? Кому он нужен? Может вообще не возвращаться – ей будет только лучше. Но она поклялась матери, что будет следить, чтобы тот не подхватил какую-нибудь постыдную болезнь или еще того хуже – не сбежал бы с какой-нибудь турчанкой. А бусины тем временем одна за другой скользили меж пальцев Дездемоны. Но она уже не занималась перечислением своих обид. Теперь они вызывали в ее памяти картинки из журнала, спрятанного в старом отцовском письменном столе. Бусинка – модная прическа. Еще одна – шелковое трико. Третья – черный бюстгальтер. И моя бабка начала складывать их вместе.

Тем временем Левти с мешком коконов за спиной спускался вниз. Добравшись до города, он двинулся по Капали-Карси-Каддеси, свернул на Борса-Сокак и вскоре оказался во дворе Коза-Хана. В центре, вокруг аквамаринowego фонтана, висел сотня мешков, набитых коконами. Толпа мужчин торговалась, продавая и покупая. Они кричали с десяти утра и уже охрипли. «Хорошая цена! Хорошее качество!» Левти протолкался вперед между расставленными мешками. Его никогда особенно не интересовали средства к существованию. Он не мог определить качество кокона на ощупь или по запаху, как это могла сделать его сестра. И он носил коконы на рынок сам только потому, что женщинам это делать было запрещено. Толчея и столкновения с носильщиками его раздражали. Он думал о том, как было бы прекрасно, если бы все замерли и насладились бы сиянием коконов в вечернем свете; но, естественно, никто и не думал это делать. Люди продолжали кричать, бросаясь коконами, пререкаясь и обманывая друг друга. Отец Левти любил рыночный сезон в Коза-Хане, но сын не унаследовал его меркантильности.

Наконец Левти заметил под навесом знакомого купца и поставил перед ним свой мешок. Купец сунул руку внутрь, вытащил кокон, опустил его в миску с водой и принялся рассматривать. Затем погрузил в чашу с вином.

– Это годится только на органзу. Он недостаточно крепок.

Левти даже не поверил своим ушам. Шелк Дездемоны всегда был самым лучшим. И он знал, что должен сейчас закричать, настоять на том, что его оскорбили, и забрать свой товар. Однако он поздно пришел и вот-вот должен был прозвучать удар колокола, означающий конец торговли. Отец всегда говорил ему, что надо являться пораньше, иначе придется продавать коконы за бесценок. Кожа Левти под новым костюмом покрылась мурашками. Ему не терпелось поскорее все закончить. Его переполнял стыд – стыд за человечество, за его страсть к деньгам и обману. И он без возражений согласился на предложенную цену, а как только сделка состоялась, поспешил прочь, направляясь к истинной цели своего прихода в город.

И это было совсем не то, что предполагала Дездемона. Приглядитесь внимательнее: вот Левти, заломив котелок, спускается по кривым улочкам Бурсы. Он проходит мимо кофейни, даже не заглянув внутрь, и лишь машет рукой в ответ на приветствие хозяина. На следующей улице он проходит мимо окна, закрытого ставнями, откуда его окликают женские голоса, но и на них он не обращает никакого внимания. По извилистым улицам он идет мимо торговцев фруктами и ресторанов, пока не добирается до церкви. А точнее – до бывшей мечети со снесенным минаретом и замазанными сурами Корана, поверх которых теперь наносятся лики христианских святых. Левти протягивает монету старухе, торгующей свечами, берет одну, зажигает ее и ставит в песок, после чего садится на заднюю скамью. И точно так же, как моя мать молилась о том, чтобы ее наставили относительно моего зачатия, мой двоюродный дед Левти Стефанидис смотрит на незаконченное изображение Христа Вседержителя на потолке. Его молитва начинается обычными словами, которые он выучил еще в детстве: «Кирие элейсон, Кирие элейсон⁷, я, недостойный, преклоняю колена перед Твоим престолом...», однако дальше в ней появляются более личные мотивы: «Я не знаю, почему я это ощущаю, это ненормально...», а порой проскальзывает даже оттенок упрека: «Ты сделал меня таким, я не просил об этом...»; впрочем, все кончается униженным «Помоги мне, Господи, не дай мне стать таким... если бы она знала...» – глаза крепко зажмурены, пальцы мнут поля котелка, слова вместе с дымом благовоний поднимаются вверх, к неоконченному Христу.

Он молится минут пять, потом выходит из церкви, снова надевает на голову котелок и звенит мелочью в карманах. Теперь он поднимается вверх и на этот раз с облегченным сердцем заходит во все те места, которыми пренебрегал по дороге в церковь. Он заходит в кофейню и выкуривает папиросу, потом заглядывает в кафе и выпивает там стакан вина. Его окликают игроки в триктрак: «Эй, Валентино, сразимся?» И он позволяет соблазнить себя на одну партию, проигрывает и оказывается перед выбором: удвоение или полный проигрыш. (Подсчеты, обнаруженные Дездемоной в карманах его брюк, и были карточными долгами.) Время идет, вино льется рекой. Появляются музыканты, и начинает звучать ребетика. Они исполняют песни о страсти, смерти, уличной жизни и тюремном заточении.

Рано утром каждый день
Я курю гашиш в курильне,
Чтоб развеять грусти тень,
Что тавром лежит фамильным, —
подпевает им Левти.
И у моря, где фонтан,
Двух красоток я встречаю —

⁷ Господи помилуй (*греч.*).

Одурманенных путан Лицеэрю и привечаю.

А тем временем уже раскуриваются кальяны, и только к полуночи Левти выбирается на улицу.

Он спускается по переулку, сворачивает и оказывается в тупике. И следующее, что осознает Левти, – он лежит на диване с тремя греческими солдатами и смотрит на семь пухлых надушенных женщин, сидящих напротив. (Фонограф исполняет модную песенку «И утром, и вечером...», которая звучит повсюду.) А когда мадам произносит: «Кого пожелаешь, миленок», он тут же забывает о своей недавней молитве и переводит свой взгляд с голубоглазой черкешенки на армянку, соблазнительно поедающую персик, с армянки на монголку с челкой, пока не останавливается на тихой девушке с грустными глазами и черными косами, сидящей в самом конце. «Для каждого клинка найдутся ножны», – по-турецки произносит мадам, и шлюхи раздражаются смехом. Не отдавая себе отчет в своей соблазнительности, Левти встает, одергивает пиджак, протягивает руку своей избраннице, и только когда она начинает подниматься наверх, его внутренний голос подсказывает ему, насколько она похожа... и этот профиль... но они уже входят в ее комнату, пропахшую розовой водой и вонью невымытых ног, с грязными простынями и лампадой, рассеивающей кровавый свет. В юношеском упоении Левти не замечает удручающего сходства, проступающего всякий раз, когда она раздевается. Он пожирает глазами большие груди, тонкую талию и струящиеся волосы, которые водопадом спускаются до беззащитного копчика, – но это не вызывает у него никаких ассоциаций. Девушка раскуривает ему кальян. Вскоре он уплывает, и внутренний голос его замолкает. В нежном наркотическом сне он забывает, кто он такой и с кем он. Плоть проститутки превращается в тело другой женщины. Несколько раз называет ее по имени, но он уже настолько одурманен, что даже не замечает этого. И лишь позднее, выпроваживая Левти, девушка возвращает его к реальности. «Кстати, меня зовут Ирины. А Дездемоны у нас нет».

На следующее утро он проснулся в таверне «Кокон» полный угрызений совести и, выйдя из города, начал подниматься к Вифинии. В опустевших карманах ничего не звенит. С похмелья его трясет, и Левти убеждает себя, что сестра права – ему пора жениться. Он женится на Люсиль или Виктории, родит детей, перестанет ходить в Бурсу и мало-помалу изменится – станет старше, и все его нынешние чувства отойдут в прошлое и превратятся в ничто. Он качает головой и поправляет котелок.

А в Вифинии тем временем Дездемона давала последние наставления двум претенденткам. Пока Левти еще мирно спал в «Коконе», она пригласила в дом Люсиль Кафкалис и Викторию Паппас. Они были младше Дездемоны и все еще жили со своими родителями, а потому относились к ней как к хозяйке дома. Завидуя ее красоте, они не скрывали своего восхищения и, польщенные ее вниманием, делились с ней всеми своими секретами, внимательно выслушивая ее рекомендации относительно своей внешности. Люсиль Дездемона посоветовала почаще мыться и смазывать подмышки уксусом вместо дезодоранта. А Викторию она отправила к турчанке, которая специализировалась на удалении лишних волос. В последующие недели Дездемона обучила девушек всему, что узнала сама из единственного виденного ею модного журнала под названием «Парижское белье». Этот каталог принадлежал ее отцу. В нем было тридцать две фотографии фотомоделей в бюстгальтерах, корсетах, поясах и чулках. По ночам, когда все засыпали, он доставал его из нижнего ящика своего стола. А теперь его тайком изучала Дездемона, внимательно вглядываясь в картинки, чтобы потом их воспроизвести.

Она предложила Люсиль и Виктории каждый день заходить к ним в гости. И те стали ежедневно появляться в их доме, покачивая бедрами – как им было сказано, – когда они проходили через виноградник, где Левти любил читать. При этом каждый раз они надевали новые

платья, меняли прически, украшения, походку и манеры. Под руководством Дездемоны две замухрышки создали собственный образ: у каждой из них был свой неповторимый смех, обаяние и своя любимая песенка. Две недели спустя Дездемона, выйдя из дома, отправилась на виноградник к своему брату.

– Что ты здесь делаешь? – осведомилась она. – Почему не идешь в Бурсу? Ты, кажется, нашел там турчанку себе по вкусу. Главное, не забудь заглянуть к ней под чадру: нет ли у нее таких же усов, как у Виктории.

– Странно, что ты вдруг заговорила об этом, – откликнулся Левти. – Ты не обратила внимание? Они у нее куда-то исчезли. И знаешь что еще... – он встал и улыбнулся, – даже от Люсиль стало пахнуть приятнее. Каждый раз, когда она проходит мимо, я чувствую аромат цветов. (Конечно же, он лгал. Он по-прежнему не испытывал к ним никакого влечения. И весь его энтузиазм объяснялся лишь сдачей позиций перед неизбежным – свадьбой, домом, детьми, – тем, что представлялось ему полным крушением.) Он подошел ближе. – Ты права, – промолвил он. – Самые красивые девушки все равно живут здесь.

– Ты правда так думаешь? – робко посмотрела ему в глаза Дездемона.

– Иногда просто не замечаешь того, что находится у тебя под носом.

Они стояли, глядя друг другу в глаза, и у Дездемоны снова начало сосать под ложечкой. Но для того чтобы объяснить это, мне нужно рассказать вам еще одну историю. В 1968 году в своем послании ежегодному собранию Общества научных исследований сексуальности, проводившемуся тогда в Мазатлане, президент этого общества доктор Люс ввел понятие «перифенология». Само по себе это слово не значит ровным счетом ничего, доктор Люс ввел его во избежание этимологических ассоциаций. И тем не менее состояние перифенологии прекрасно известно. Оно означает лихорадку первого совокупления. Ему сопутствует головокружение, ощущение восторга и вибрация грудной клетки. Перифенология – это безумное, романтическое состояние влюбленности. Согласно Люсу, оно может длиться до двух лет. Древние объяснили бы состояние Дездемоны влиянием Эроса. Современная наука объясняет это химией мозга и эволюцией. И тем не менее я утверждаю: то, что испытывала Дездемона, было подобно теплому потоку, поднимающемуся из живота и омывающему всю грудь. Это походило на действие стопроцентной мятной финской водки, пары которой заливали все ее лицо. А потом тепло начало распространяться в места, до которых такая девушка, как Дездемона, не могла ему позволить дойти, а потому она опустила глаза, отвернулась и подошла к окну, ощутив, как ветер, поднимающийся из долины, остужает ее.

– Я поговорю с их родителями, – промолвила Дездемона с материнской интонацией. – И тогда ты сможешь ухаживать за ними.

Вечером следующего дня в небе висел полумесяц, как на будущем флаге Турции. Греческие войска в Бурсе мародерствовали, предавались пьяному разгулу и расстреливали очередную мечеть. В Ангоре Мустафа Кемаль оповестил всех газетчиков, что будет на встрече в Чанкайе, чтобы сбежать к себе, в военно-полевой штаб. Там же он со своим отрядом в последний раз, перед тем как ринуться в бой, выпил араки⁸. Под покровом ночи турецкие войска двинулись не на север, к Эскишехиру, как того все ожидали, а на юг, к укрепленному городу Афийону. Вокруг же Эскишехира были зажжены костры для камуфляжа. В качестве отвлекающего маневра была послана небольшая группировка к Бурсе. Именно в это время Левти Стефанидис с двумя корсетами в руках прошествовал от своей парадной двери к дому Виктории Паппас.

Это было событие исторического значения. Все жители Вифинии знали о грядущем сватовстве Левти, так что вдовы и замужние женщины, юные матери и старики с нетерпением ждали, кого он выберет. По мере того как уменьшалось население деревни, старые ритуалы

⁸ Крепкий алкогольный напиток.

почти исчезли. А отсутствие романтики создало порочный круг: так как любить было некого, исчезла сама любовь; исчезла любовь – перестали появляться дети, а когда нет детей – некого любить.

Виктория Паппас стояла на границе света и тьмы, и тень падала на нее именно так, как на фотографии, опубликованной на странице восемь «Парижского белья». Дездемона – художник по костюмам и режиссер одновременно – заколола ей волосы вверх, оставив лишь завитки на лбу, и предупредила, чтобы та не позволяла свету падать на свой большой нос. Удалив лишние волосы, Виктория, надушенная и умащенная кремами, с насурьмленными веками предстала перед Левти. Она ощущала страстность его взгляда, слышала его тяжелое дыхание, видела, как он пытается заговорить, но из его пересохшего горла вылетал лишь легкий хрип; а потом она различила звук его шагов, повернулась и придала своему лицу то выражение, которому ее учила Дездемона. Но поглощенная усилиями сложить губы бантиком, как у французской модели, она не поняла: шаги не приближались, а удалялись, и когда она обернулась, то увидела, что единственный деревенский холостяк Левти Стефанидис уходит прочь...

Меж тем Дездемона открыла свой сундук с приданым и достала оттуда корсет. Он был подарен ей матерью много лет назад для первой брачной ночи; и свой дар она сопроводила следующими словами: «Надеюсь, когда-нибудь ты до него дорастешь». И теперь, стоя перед зеркалом, Дездемона приложила к себе это странное сложное одеяние. Она сняла с себя юбку и рубашку с высоким воротом, серое белье и носки. Она сбросила с головы платок, расплела волосы, и они упали на ее обнаженные плечи. Корсет был из белого шелка, и, надев его, Дездемона почувствовала себя так, словно она пряла свой собственный кокон в ожидании метаморфоз.

Потом она посмотрелась в зеркало и подумала, что все это бессмысленно. Ей никогда не удастся выйти замуж. Левти сегодня выберет невесту и приведет к ним в дом. Дездемона будет жить по-прежнему, перебирая свои четки и чувствуя себя еще старше, чем сейчас. Где-то завyla собака. Кто-то вдали споткнулся о вязанку хвороста и выругался. И моя бабка тихо заплакала, потому что всю оставшуюся жизнь ей предстояло пересчитывать беды, от которых она не могла избавиться...

А Люсиль Кафкалис в белой шляпе, украшенной стеклянными вишенками, мантилье, накинутой на обнаженные плечи, и в ярко-зеленом платье с глубоким декольте стояла меж тем на высоких каблуках, боясь пошевелиться, как ей было велено, на границе света и тьмы, когда с криками вбежала ее толстая матушка: «Идет! Идет! Он даже минуты не смог пробыть с Викторией наедине!»

Едва переступив порог дома Кафкалисов, Левти почувствовал запах уксуса.

«Мы вас оставим наедине. Познакомьтесь друг с другом», – приветствовал его отец Люсиль.

Родители вышли, а Левти, оставшись в сумрачной комнате, обернулся и... уронил корсет.

Дездемона не учла, что ее брат тоже просматривал «Парижское белье». Более того, он регулярно это делал с двенадцати до четырнадцати лет, пока не обнаружил настоящее сокровище – десять фотографий, спрятанных в старом чемодане, на которых была изображена скупающая двадцатипятилетняя красотка с грушевидной фигурой – она принимала разные позы на подушках с кисточками в декорациях серала. Когда он нашел ее фото в кармашке для туалетных принадлежностей, у него возникло ощущение, что он потерял лампу с джином. Красотка выпорхнула в облаке сверкающей пыли, абсолютно обнаженная, если не считать туфель из «Тысячи и одной ночи» и шарфа, повязанного вокруг талии. Она томно возлежала на тигровой шкуре, лаская ятаган, или сидела на доске для игры в триктрак. Именно эти десять раскрашенных фотографий и пробудили интерес Левти к городу. Однако он всегда помнил своих первых возлюбленных из «Парижского белья» и мог вызвать их образы в любой момент. И когда он увидел Викторию Паппас, стоявшую как модель на странице восемь, он ощутил

огромную дистанцию между нею и своим мальчишеским идеалом. Он попробовал представить себе, что женат на Виктории и живет вместе с ней, но во всех возникавших картинах зияла пустота, так как в них отсутствовал образ той, кого он больше всего любил и лучше всех знал. Но когда он сбежал от Виктории Паппас, то увидел, что и Люсиль Кафкалис столь же удручающе не дотягивает до той фотографии, что на странице двадцать два...

И вот тут-то все и произошло. Дездемона, заливаясь слезами, снимает корсет, складывает его и возвращает на место в сундук с приданым. После чего падает на кровать Левти, вздрагивая от рыданий. Подушка пахнет его лимонным лосьоном, и она, всхлипывая, вдыхает этот запах, пока не засыпает, захмелев от рыданий. Ей опять снится тот самый сон, который посещает ее в последнее время. В нем все так, как было раньше. Они с Левти снова дети, только со взрослыми телами. И лежат в родительской кровати. Тела их во сне переплетаются, что удивительно приятно, и простыня становится влажной... Тут Дездемона всегда просыпалась. Лицо ее горело, в низу живота она ощущала что-то странное и, кажется, даже могла сказать, что именно...

...И вот я сижу в своем космическом кресле, и в моей голове вертятся мысли Е. О. Вильсона. Что это было – любовь или стремление к воспроизводству? Случай или судьба? Преступление или сила природы? Может, этот ген обладал особой мощью, необходимой для его проявления, и именно этим объясняются слезы Дездемоны и пристрастие Левти к проституткам определенной внешности; возможно, это было не любовью и не симпатией, а лишь непременным условием появления на свет этой штуки и отсюда уже все эти сердечные игры. Впрочем, я разбираюсь в этом не лучше, чем Дездемона, Левти или любой другой влюбленный, который не может отличить то, что определяется гормонами, от того, что содержит в себе Божественное начало, и, возможно, я придерживаюсь идеи Бога из чистого альтруизма, объясняющегося стремлением к сохранению вида, – не знаю. Я пытаюсь мысленно вернуться к тому времени, когда о генетике еще не было и речи и никто не повторял по любому случаю: «Ну, это гены». В годы той свободы, что была гораздо шире нашей нынешней. Дездемона совершенно не понимала, что происходит. Она не могла рассматривать свою плоть как компьютерный код с единицами и нулями, как бесконечные последовательности, в одной из которых могла содержаться ошибка. Теперь мы уже знаем, что несем в себе эту схему. Даже когда мы просто остаемся на улице, чтобы перейти улицу, она диктует нам нашу участь. Она покрывает наши лица теми же морщинами и старческими пятнами, которые были у наших родителей. Она заставляет нас чихать неповторимым, узнаваемым семейным способом. Гены укоренены в нас настолько глубоко, что они контролируют мышцы глаз, так что сестры будут одинаково мигать, а братья-близнецы в унисон пускать слюни. Порой, когда у меня плохое настроение, я ловлю себя на том, что играю с хрящом носа точно так же, как это делает мой брат. Наши глотки и голосовые связки созданы по одной и той же схеме, чтобы мы могли издавать звуки одинакового тона и с громкостью в одном интервале децибелов. И все это можно экстраполировать в прошлое, так что одновременно со мной говорит Дездемона. Она же выводит своей рукой эти слова. Дездемона, которая даже не представляла себе, что в ней действует целая армия, выполняющая миллионы приказов, за исключением одного непослушного солдата, отправившегося в самоубийство...

...и сбежавшего, как Левти от Люсиль Кафкалис обратно к своей сестре. Она услышала его торопливые шаги, когда застегивала юбку. Зашвырнув корсет в сундук, она утерла слезы платком и улыбнулась как раз в тот момент, когда он входил в дом.

– Ну и кого ты выбрал?

Левти ничего не ответил и принялся внимательно рассматривать сестру. Он всю жизнь спал с ней в одной спальне, поэтому неудивительно, что мог определить, когда она плакала. Ее волосы были распущены и закрывали большую часть лица, но ее глаза были для него такими же родными, как свои.

– Никого, – ответил он.

И Дездемона вдруг ощутила прилив невероятного счастья.

– Что с тобой такое? – тем не менее осведомилась она. – Ты должен на ком-то остановить свой выбор.

– Эти девицы похожи на пару шлюх.

– Левти!

– Правда-правда.

– Ты не хочешь на них жениться?

– Нет.

– Но ты должен. – Она подняла кулак. – Если я выиграю, ты женишься на Люсиль.

Левти, который был заядлым спорщиком, не смог удержаться и тоже сжал кулак.

– Раз, два, три... пли!

– Топор сильнее камня, – заявил Левти. – Я выиграл.

– Еще раз, – потребовала Дездемона. – На этот раз, если я выиграю, ты женишься на Вики. Раз, два, три...

– Змея проглотит топор. Я снова выиграл! Прощай, Вики!

– Тогда на ком же ты собираешься жениться?

– Не знаю... – Он взял ее за руки, глядя на нее сверху вниз. – А как насчет того, чтобы на тебе?

– Не пойдет. Я твоя сестра.

– Ты не только моя сестра, ты еще и троюродная. А на троюродных сестрах можно жениться.

– Ты рехнулся, Левти.

– Тогда все будет просто. Нам не потребуется перестраивать дом.

И они обнялись полушутя-полусерьезно. Сначала это было обычным объятием, но уже через пару секунд все начало меняться – положения рук и поглаживания пальцев совсем не напоминали о родственной привязанности, но образовывали их собственный язык, на котором они говорили в пустой комнате. Левти начал кружить Дездемону в вальсе и, вальсируя, вывел ее на улицу, во двор, к плантации коконов и обратно к винограднику, а она заливалась смехом, прикрывая рот рукой.

– Ты прекрасно танцуешь, кузен, – промолвила она и почувствовала, как сердце у нее снова подпрыгнуло к самому горлу; она испугалась, что прямо сейчас умрет в объятиях Левти, но, конечно же, этого не произошло, и они продолжали кружиться.

И давайте не будем забывать, что они танцевали в Вифинии, горной деревне, где принято жениться на своих двоюродных сестрах, а поэтому здесь все в той или иной мере приходится друг другу родственниками. И по мере того как они танцевали, они прижимались друг к другу все сильнее, как это иногда делают мужчина и женщина, оказавшись вдвоем.

И в разгар этого танца, когда еще ничего не было сказано и никаких решений не было принято, еще до того, как страсть приняла решение за них, они услышали взрывы и, посмотрев вниз, увидели во всполохах пламени, что греческая армия отступает.

Нескромное предложение

Потомок выходцев из Малой Азии, я родился в Америке, а живу в Европе, конкретнее – в районе Шёнеберг в Берлине. Посольство делится на две части: сам дипломатический корпус и отдел культуры. Посол и его помощники руководят внешней политикой, расположившись в только что отстроенном и мощно укрепленном здании посольства на Нойштадтише-Кирхштрассе. Наш департамент (он организует публичные чтения, лекции и концерты) находится в старомодной высотной коробке, в так называемом Доме Америки.

Утром я добираюсь туда на метро. Поезд быстро доставляет меня к западу от Кляйста, к Берлинерштрассе, где я делаю пересадку и направляюсь на север, к Зоологическому саду. Мимо мелькают станции бывшего Западного Берлина. Большинство из них реконструировано в семидесятых годах, и теперь они выкрашены в цвета провинциальных кухонь моего детства – оттенки авокадо, корицы, ярко-желтого подсолнуха. На Шпихернштрассе поезд делает остановку, чтобы произвести обмен телами. На платформе уличный музыкант играет на аккордеоне слезливую славянскую мелодию. Волосы мои все еще влажные, и кончики поблескивают; я листаю «Франкфуртер альгемайне», и тут она вкатывает в вагон свой немислимый велосипед.

Обычно национальность человека определяешь по его лицу. Процесс иммиграции положил этому конец, и национальность стали определять по обуви. Но глобализация покончила и с этим. Теперь уже не встретишь ни финских мокасин из тюленьей кожи, ни немецких бутс. Теперь все носят «найк», будь ты баск, голландец или выходец из Сибири.

Она была азиаткой, по крайней мере генетически. Черные волосы острижены и взлохмачены. На ней короткая ветровка оливкового цвета, расклепанные черные лыжные штаны и бордовые туристские ботинки, похожие на туфли для боулинга. В корзинке, прикрепленной к велосипеду, лежал кофр.

Мне почему-то показалось, что она американка. Велосипед был старый, в стиле ретро – хром с бирюзой, крылья как у «шевроле», колеса с широкими, как у тачки, шинами и весом не меньше ста фунтов. Не велосипед, а настоящая причуда экспатрианта. Мне он показался прекрасным поводом, чтобы начать разговор, но поезд снова остановился. Велосипедистка подняла глаза, откинула волосы со своего прекрасного лица, и на мгновение мы встретились глазами. Гладкая кожа и абсолютно невозмутимое выражение делали лицо похожим на маску с живыми, одухотворенными глазами. Она отвела от меня взгляд, взялась за руль, вывела свое огромное транспортное средство из поезда и покатила к эскалаторам. Поезд тронулся, но мне не захотелось возвращаться к «Франкфуртер альгемайне». До своей остановки я просидел в состоянии сладострастного возбуждения или возбужденной сладострастности. Потом, пошатываясь, вышел из метро.

Я расстегнул пиджак и вынул из внутреннего кармана сигару. Из другого маленького кармашка я достал машинку для обрезания сигар и спички. Хотя до обеда было еще далеко, я раскурил сигару «Гранд Давыдофф № 3», затянулся и остановился, чтобы успокоиться. От сигар и двубортных костюмов немного проку. Я это прекрасно понимаю. Но они нужны мне. С ними я чувствую себя лучше. После того, что я пережил, я могу рассчитывать на некоторую компенсацию. Итак, в сшитом на заказ костюме и клетчатой рубашке я выкурил свою сигару средней крепости, и пожар в моей крови начал угасать.

Я хочу, чтобы вы понимали: я отнюдь не являюсь андрогиним. Синдром дефицита 5-альфа-редуктазы обеспечивает нормальный биосинтез и периферическое действие тестостерона как в утробе матери, так и в младенческом и в пубертатном периоде. Иными словами, в обществе я функционирую как лицо мужского пола. Я пользуюсь мужскими туалетами. Правда, не писсуарами, а стульчаками. Даже принимаю душ после занятий спортом в мужских душевых, правда, делаю это осторожно. И обладаю всеми вторичными половыми при-

знаками мужчины, за исключением одного: моя неспособность к синтезу дегидротестостерона лишила меня возможности облысеть. Я прожил мужчиной большую часть жизни, и теперь все происходит естественно. Когда же на поверхность всплывает Каллиопа, у меня это вызывает ощущение детского заикания. Она появляется внезапно и вдруг начинает рассматривать свои ногти или поправлять прическу. Это похоже на состояние одержимости. Во мне вдруг возникает Калли и натягивает на себя мою плоть, как свободную рубаху. Она пропихивает свои ручки в мешковатые рукава моих рук. Она вставляет свои обезьяньи ножки в мои штанины. И вдруг я ощущаю, что подчиняюсь ее девичьей походке, и пластика этих движений вызывает во мне пустую, праздную симпатию к девочкам, идущим домой из школы. Но это продолжится недолго. Волосы Каллиопы щекочут мне шею. Я чувствую, как она робко прижимается к моей груди – это ее старая привычка, – чтобы проверить, что там происходит. И болезненный жар подросткового отчаяния, пронизывающего ее, снова начинает поступать в мою кровь. Но потом так же внезапно она исчезает, съеживаясь и растворяясь внутри меня, и, когда я оборачиваюсь, чтобы бросить взгляд на свое отражение в витрине, я вижу сорокалетнего мужчину с длинными волнистыми волосами, тонкими усиками и эспаньолкой – что-то вроде современного мушкетера.

Но довольно обо мне. Я вернусь туда, где вчера меня прервали взрывы. Потому что ни Калл, ни Каллиопа не смогли бы появиться на свет, если бы за этим ничего не последовало.

Довольно обо мне.

* * *

– Я же говорила! – закричала Дездемона изо всех сил. – Я же говорила, что все это счастье до добра не доведет. Это так они нас освобождают?! Только греки могут быть такими глупыми.

К утру, после вальса, все дурные предчувствия Дездемоны подтвердились. Великая Идея потерпела полный крах. Турки захватили Афию. Разгромленная греческая армия бежала к морю, по дороге поджигая все, что попадалось на пути. В лучах рассвета Дездемона и Левти стояли на склоне горы, глядя на разрушения. Черный дым расстилался по всей долине, на много миль. Горело все, вплоть до последнего дерева.

– Здесь нельзя оставаться, – промолвил Левти. – Турки начнут мстить.

– Можно подумать, им для этого нужен повод.

– Мы поедем в Америку. Можно будет остановиться у Сурмелины.

– Я не хочу в Америку, – затрясла головой Дездемона. – Лениным письмам нельзя верить.

Она все преувеличивает.

– Пока мы вместе, все будет хорошо.

Он снова посмотрел на нее так, как накануне вечером, и Дездемона залилась краской. Он попытался обнять ее, но она его остановила:

– Смотри.

Дым внизу поредел, и они увидели дороги, забитые толпами беженцев, – целые потоки телег и повозок, запряженных буйволами и мулами.

– Где можно раздобыть судно? В Константинополе?

– Мы отправимся в Смирну, – ответил Левти. – Все говорят, что дорога через Смирну самая безопасная.

Дездемона умолкла, пытаясь осознать эту новую реальность. Из всех домов доносились негодующие голоса, проклиная турок и греков. Люди начинали собираться.

– Я возьму шкатулку с шелковичными червями, тогда мы сможем зарабатывать деньги, – решительно заявила Дездемона.

Левти взял ее за локоть и игриво потряс руку.

– В Америке не занимаются шелководством.

– Но ведь там что-то на себя надевают? Или все ходят голыми? А если надевают, то, значит, им нужен шелк. И его станут покупать у меня.

– Ладно, как хочешь. Только поторапливайся.

Элевтериос и Дездемона Стефанидис покинули Вифинию 31 августа 1922 года. Они ушли пешком с двумя чемоданами, в которых была одежда, туалетные принадлежности, сонник да четки Дездемоны и пара антологий Левти на древнегреческом. Кроме этого под мышкой Дездемона несла шкатулку с яйцами тутовых шелкопрядов, завернутых в белую ткань. А карманы у Левти теперь были набиты записями не карточных долгов, а адресов в Афинах и Астории. За неделю все обитатели Вифинии упаковали свои пожитки и двинулись на материковую Грецию, намереваясь в дальнейшем перебраться в Америку. (Дiaspora, которая могла помешать моему появлению на свет. Однако этого не произошло.)

Перед уходом Дездемона вышла во двор и перекрестилась на православный манер, сложив пальцы так, чтобы большой был сверху. Она простилась с туалетом, гнилостным запахом шелковичной плантации, тузовыми деревьями, росшими вдоль стены их дома, и лестницей, по которой ей уже не суждено больше подниматься, но главное – с этим ощущением жизни над всем остальным миром, а потом, в последний раз, зашла взглянуть на своих гусениц. Ни одна из них не пряла коконы. Дездемона протянула руку, сняла с веточки один кокон и положила себе в карман.

Шестого сентября 1922 года главнокомандующий греческими войсками в Малой Азии генерал Хаджинестис проснулся с ощущением, что его ноги остекленели. Боясь вылезти из постели, он пренебрег утренним бритьем и отослал брадобрея. Днем он отказался выходить на берег, где обычно наслаждался лимонным мороженым. Вместо этого он продолжал лежать на спине, требуя от своих адъютантов, прибывавших с донесениями с фронта, чтобы те не топали ногами и не хлопали дверью. Этот день стал для командующего одним из самых светлых и продуктивных. Когда двумя неделями ранее турецкая армия захватила Афийон, Хаджинестис решил, что он уже умер, а всполохи света на стенах его каюты – пиротехническое шоу в преддверии рая.

В два часа явился его адъютант.

– Сэр, я жду приказа начинать контратаку, – шепотом произнес он.

– Вы слышите, как они скрипят?

– Кто, сэр?

– Мои ноги. Мои худые остекленевшие ноги.

– Сэр, я знаю, что у моего генерала больные ноги, но, при всем уважении, сэр, должен вам заявить, – и далее чуть громче, – что сейчас не время заниматься этими проблемами.

– Ах, вы думаете, что это шутка, лейтенант? Вы бы отнеслись к этому иначе, если бы ваши ноги остекленели. Я не могу выйти на берег. Именно на это и рассчитывает Кемаль. На то, что я встану и мои ноги разобьются вдребезги.

– Вот последние сообщения, генерал. – Адъютант поднес к лицу Хаджинестиса листок бумаги. – Турецкая кавалерия была замечена в ста милях к востоку от Смирны, – прочитал он. – Число беженцев составило сто восемьдесят тысяч человек. Это на тридцать тысяч больше, чем вчера.

– Я и представить себе не мог, что смерть будет такой, лейтенант. Я вижу вас совсем рядом, хотя меня уже нет. Я уже на пути в Аид. Знаете что? Смерть – это не конец. Вот что я обнаружил. Мы никуда не деваемся. И мертвые видят, что я уже один из них. Вот они окружили меня. Вы не можете их увидеть, но они здесь. Женщины с детьми, старухи – все здесь. Попросите повара принести мне завтрак.

А в это время знаменитый порт Смирны был забит судами. Торговые корабли пришвартовались к длинному причалу рядом с баржами и деревянными шлюпками. Дальше – в море

на якоре – стояли военные корабли Объединенных сил. Их вид обнадеживал греков и армян, обитавших в Смирне (и тысячи тысяч греческих беженцев), хотя в городе циркулировали разные слухи: как раз накануне одна армянская газета написала, будто союзники – в порядке компенсации за свою помощь грекам – намерены передать город победоносной турецкой армии. Горожане взирали на французские эсминцы и английские боевые корабли, все еще готовые защищать европейские торговые интересы в Смирне, и опасения их отступали.

В тот день доктор Нишан Филобозян двинулся в порт, надеясь обрести подтверждение этому. Он поцеловал на прощанье жену Туки и своих дочерей Розу и Аниту, похлопал по спине сыновей Гарегина и Степана и, указав на шахматную доску, заметил с напускной серьезностью: «Фигуры не трогать». Затем запер за собой входную дверь, плечом проверив крепость замка, и двинулся мимо закрытых магазинов и захлопнутых ставень армянского квартала. Помедлив у пекарни Берберяна, он задумался над тем, вывез ли Карл свою семью из города или они прячутся на чердаке, как и его домочадцы. Уже пять дней они были в добровольном заточении: доктор Филобозян бесконечно играл с сыновьями в шахматы. Роза и Анита смотрели фильмы, которые он прихватил для них во время своего последнего визита в американское предместье, а Туки денно и ночью стояла у плиты, потому что только едой можно было заглушить тревогу. На двери пекарни висело объявление «Скоро откроемся» и портрет маля – решительного турецкого военачальника в каракулевой шапке и с меховым воротником; из-под его изогнутых дугами бровей пронзительно смотрели голубые глаза. Доктор Филобозян отвернулся и двинулся дальше, приводя самому себе доводы, что не следовало бы вывешивать этот портрет. Во-первых, европейские силы никогда не позволят туркам занять город, в чем он всю неделю убеждал свою жену. Во-вторых, если это и произойдет, присутствие в порту военных кораблей не позволит туркам устроить резню. Даже во время погромов 1915 года армян в Смирне никто не трогал. И наконец, что касается именно их семьи, у него было письмо, которое как раз сейчас он собирался забрать из офиса. Рассуждая таким образом, он спустился вниз и дошел до европейского квартала. Здесь дома выглядели более зажиточно. По обеим сторонам улицы за высокими укрепленными стенами возвышались двухэтажные виллы с балконами, увитыми цветами. Обитатели этих вилл никогда не приглашали доктора Филобозяна в гости, зато его частенько вызывали туда к левантийским барышням – девицам восемнадцати-девятнадцати лет, дожидавшимся его в «водяных дворцах» или томно возлежавшим в шезлонгах среди фруктовых деревьев, к девицам, отчаянно желавшим заполучить европейских мужей, вследствие чего им предоставлялась немислимая свобода; а поскольку Смирна славилась своим исключительным радушием в отношении военных офицеров, то в этом и крылась причина появления на лицах барышень лихорадочного румянца, а также объясняло характер их жалоб – от подвернутой на танцплощадке лодыжки до травм в более интимных местах. Все это девицы демонстрировали без всякого стеснения и шелковые пеньюары распахивали со словами: «Доктор, сделайте что-нибудь. В одиннадцать я должна быть в казино». Теперь виллы стояли пустые – после первых же недель военных действий родители вывезли своих дочерей в Париж и Лондон, где как раз начинался сезон, а воспоминания обо всех этих распахнутых пеньюарах явно успокоили доктора Филобозяна. Однако, когда он завернул за угол и подошел к причалу, тревога снова охватила его.

Измощенные, грязные и мертвенно-бледные греческие солдаты ковыляли к месту погрузки в Чесме в ожидании эвакуации. Порванная форма была черна от копоти сожженных ими при отступлении деревень. Всего неделю назад элегантные открытые кафе на набережной были полны морских офицеров и дипломатов, сейчас причал напоминал свалку. Первые беженцы тащили с собой ковры, кресла, радио, виктролы⁹, торшеры и кухонные столы, расставляя их на берегу прямо под открытым небом. Потом шли уже только с мешками или чемо-

⁹ Виктрола – вид фонографа.

данами. И среди всего этого нагромождения сновали грузчики, переносившие к судам табак, фиги, благовония, шелк и мохер. Склады надо было очистить до появления турок.

Доктор Филобозян заметил беженца, рывшегося в куче отбросов и выбиравшего оттуда куриные кости и картофельные очистки. Это был молодой человек в хорошо скроенном, но грязном костюме. Даже издали доктор Филобозян своим врачебным оком различил порез на его руке и бледность – явно от недоедания. Однако когда тот поднял голову, вместо лица доктор увидел лишь белое пятно, ничем не отличавшееся от других белых пятен, запрудивших причал. И тем не менее, подойдя ближе, он спросил:

– Вы больны?

– Я не ел три дня, – ответил молодой человек.

– Пойдемте со мной, – вздохнул доктор и окольным путем повел пациента к своему офису. Проведя его внутрь, он достал из аптечки бинт, антисептик, пластырь и принялся осматривать рану на большом пальце – ноготь на нем отсутствовал.

– Как это произошло?

– Сначала пришли греки, – ответил беженец. – Потом их снова оттеснили турки. А моя рука оказалась у них на пути.

Доктор Филобозян промолчал, очищая рану.

– Я могу вам выписать только чек, – промолвил беженец. – Надеюсь, вы не возражаете. В данный момент у меня при себе нет денег.

Доктор Филобозян сунул руку в карман.

– Зато у меня есть немного. Вот, возьмите.

Беженец помедлил.

– Спасибо, доктор. Я отплачу вам, как только доберусь до Соединенных Штатов. Дайте мне свой адрес, пожалуйста.

– Будьте осторожны с питьем, – произнес доктор Филобозян, пропустив его слова мимо ушей. – При любой возможности кипятите воду. С Божьей помощью, возможно, скоро подойдут корабли.

Беженец кивнул.

– Вы армянин, доктор?

– Да.

– И вы не собираетесь уезжать отсюда?

– Смирна – моя родина.

– Тогда удачи вам, и да благословит вас Господь.

– И вас также. – И с этими словами доктор Филобозян вывел его на улицу и проводил взглядом. «Он обречен, – подумалось ему. – Через неделю он будет трупом. Не тиф, так что-нибудь еще». Впрочем, его это не касалось. Он вернулся обратно и, подняв крышку пишущей машинки, извлек из-под катушки с лентой толстую стопку купюр. Потом порылся в ящиках, достал свой диплом и выцветшее письмо, отпечатанное на машинке: «Сим письмом подтверждается, что 3 апреля 1919 года доктор Нишан Филобозян излечил Мустафу Кемалья от дивертикула, вследствие чего Кемаль-паша со всей почтительностью рекомендует обращаться с доктором Филобозяном уважительно и препоручает его опеке любого, кому он сочтет нужным предъявить это письмо». Филобозян сложил письмо и сунул в карман.

А беженец в это время уже покупал на причале хлеб. И только сейчас, когда он оборачивается, пряча под грязным пиджаком теплую буханку, отблеск солнца освещает его лицо и черты становятся узнаваемыми: орлиный нос, зоркий взгляд и нежность, таящаяся в глубине карих глаз.

Впервые после прихода в Смирну Левти Стефанидис улыбается. Возвращаясь из своих предыдущих вылазок, он приносил лишь гнилой персик или горстку оливок и заставлял Дездемону съесть. Теперь он нес настоящий чурек, обсыпанный кунжутом. Он обходил жилища

под открытым небом, где люди сидели, прислушиваясь к молчащим радиоприемникам, и переступал через лежавшие тела, которые, как он надеялся, были погружены всего лишь в сон. Он радовался не только добытой пище. Утром прошел слух, что для эвакуации беженцев Греция высылает целую флотилию. И Левти снова бросил взгляд на Эгейское море. Прожив двадцать лет на горе, он никогда не видел моря. Где-то там, за этим водным пространством, находилась Америка и их двоюродная сестра Сурмелина. Он принялся к морскому воздуху, аромату хлеба, запаху антисептика, распространявшемуся от его забинтованного пальца, и тут увидел ее – Дездемону, которая сидела на чемодане там же, где он ее оставил, – и почувствовал себя еще счастливее.

Левти не мог точно определить момент, когда он начал задумываться о своей сестре. Сначала ему было просто интересно посмотреть, как выглядит грудь настоящей женщины. И ему было все равно, что это была грудь его сестры. Он старался не думать об этом. Из-за килима, разделявшего их кровати, ему был виден силуэт раздевавшейся Дездемоны. Это было просто тело, оно могло принадлежать кому угодно – по крайней мере, так уговаривал себя Левти.

– Что ты там делаешь? – спрашивала раздевавшаяся Дездемона. – Что это ты затих?

– Я читаю.

– Что ты читаешь?

– Библию.

– Ну конечно! Ты никогда не читаешь Библию.

Потом он поймал себя на том, что представляет себе сестру после того, как гас свет. Она захватывала воображение Левти, как он ни сопротивлялся. Тогда он стал ходить в город в поисках чужих обнаженных женщин.

Но после того дня, когда они вместе танцевали, он перестал сопротивляться. Потому что их родители были мертвы, деревня уничтожена, потому что в Смирне их никто не знал и потому что он не мог противиться виду Дездемоны, с которым она сейчас сидела на чемодане.

А что Дездемона? Что чувствовала она? По большей части страх и тревогу, которые перемежались невероятными всплесками счастья. Она никогда еще не клала свою голову на колени мужчине. И никогда не спала «ложка в ложке» в мужских объятиях. Она никогда не ощущала мужского желания, при том что слова продолжают звучать так, словно ничего не происходит.

– Осталось всего пятьдесят миль, – сказал Левти как-то вечером во время этого изнурительного путешествия в Смирну. – Может, нам завтра повезет и кто-нибудь нас подбросит. А когда мы доберемся до Смирны, то сядем на корабль, идущий в Афины, – голос его звучал напряженно и несколько выше, чем обычно, – а из Афин мы поплывем в Америку. Правда, здорово? По-моему, очень хорошо.

«Что я делаю? – думала Дездемона. – Он мой брат!» Она оглядывалась на других беженцев и все время ждала, что они начнут стыдить ее. Но вокруг были только безжизненные лица и пустые глаза. Никто ничего не знал, и никому не было до них дела. И тут она услышала возбужденный голос брата, поднесшего хлеб к ее лицу:

– Зрите манну небесную.

Дездемона подняла глаза и, когда Левти разломил чурек пополам, почувствовала, как ее рот наполняется слюной.

– Я не вижу никаких кораблей, – грустно произнесла она.

– Не волнуйся. Они на подходе. Ешь. – Левти опустился рядом с ней на чемодан. Их плечи соприкоснулись, и Дездемона отодвинулась. – В чем дело?

– Ни в чем.

– Всякий раз, когда я сажусь рядом, ты отодвигаешься. – Он с недоумением посмотрел на Дездемону, но выражение его лица тут же смягчилось, и он обнял ее, ощутив, как та напряглась. – Ну ладно, как хочешь. – И он снова встал.

– Куда ты?

– Пойду поищу еще какой-нибудь еды.

– Не ходи, – попросила Дездемона. – Прости. Мне здесь так одиноко.

Но он, не слушая, уже ринулся прочь. Он ходил по городу, проклиная Дездемону и проклиная себя за то, что злится на нее, потому что знал, что она права. Но долго злиться он не умел. Это было не в его натуре. Он был измотан, голоден, у него саднило горло и болела раненая рука, но Левти было всего двадцать лет, он впервые был вдалеке от дома, и его манила окружавшая его новизна. Вдали от причала катастрофа почти не ощущалась. В городе по-прежнему работали модные магазины и аристократические бары. Он спустился по Рю-де-Франс и оказался рядом со спортивным клубом. Несмотря на происходящее, два иностранных консула играли в теннис на травяном корте. В погоне за мячом они бегали туда и обратно в наступавших сумерках, а рядом темнокожий мальчик в белоснежной куртке держал поднос с джином и тоником. Левти двинулся дальше и, выйдя на площадь с фонтаном, умыл лицо. Поднявшийся ветерок принес запах жасмина. И пока Левти вдыхает его аромат, я воспользуюсь случаем и из чисто элегических соображений попробую воскресить образ этого раз и навсегда исчезнувшего в 1922 году города.

Сегодня Смирна сохранилась лишь в нескольких песнях да в одной поэтической строфе:

Купец из Смирны Евгенидис,
Небритый, с пригоршней сабзы¹⁰,
Сказал коряво: «Извините-с,
Не отобедаете ль вы?»
Пойдя его навстречу воле,
Ночь провела я в «Метрополе».

Здесь сказано все, что нужно знать о Смирне. Купец столь небогат, сколь богатой была Смирна. Его предложение столь же соблазнительно, сколь соблазнительной была сама Смирна – самый космополитичный город на Ближнем Востоке. Как полагают, ее основателями были, во-первых, амазонки (что прекрасно согласуется с моей темой) и, во-вторых, сам Тантал. Здесь родились Гомер и Аристотель Онассис. Восток и Запад, опера и политакия¹¹, скрипка и зурна, роаяль и даули¹² соседствуют в Смирне столь же гармонично, как мед и лепестки роз в местных кондитерских.

Левти трогается с места и вскоре оказывается рядом с казино. Роскошный вход обрамляют пальмы в горшках, двери широко раскрыты. Левти входит внутрь. Его никто не останавливает. Вокруг никого. По красному ковру он поднимается на второй этаж в игровой зал. Столы пусты. Никто не стоит у рулетки. И лишь в дальнем конце несколько мужчин играют в карты. Они бросают взгляд на Левти и снова возвращаются к игре, не обращая внимания на его грязную одежду. И тогда он понимает, что это не члены клуба, а такие же беженцы, как он. Все они вошли в открытую дверь в надежде выиграть деньги и бежать из Смирны. Левти подходит к столу.

– Будешь? – спрашивает один из игроков.

– Буду.

Он не знал правил. И никогда раньше не играл в покер – только в триктрак, так что первые полчаса проигрывал. Однако постепенно Левти начал понимать разницу между игрой

¹⁰ Сабза – вид кишмиша.

¹¹ Политакия – струнный оркестр.

¹² Даули – греческий музыкальный инструмент.

в закрытую на пяти картах и в открытую на семи, и распределение выигрышей за столом стало меняться.

– У меня три таких, – демонстрируя три туза, заявил Левти, вызвав недовольство своих противников. Они начали более пристально следить за его сдачей, принимая неловкость новичка за хитрости шулера. Левти уже наслаждался игрой и, сорвав крупный банк, крикнул:

– Вина для всех!

Однако за этим ничего не последовало; он оглянулся и понял, насколько опустело казино, – это говорило о том, как высоки были ставки. Здесь играли на жизнь. И теперь он рассмотрел своих противников: увидев пот, покрывавший их лбы, и ощутив их зловонное дыхание, Левти Стефанидис проявил гораздо большую выдержку, чем четыре десятилетия спустя, когда играл в Детройте в лотерею, – он встал и сказал:

– Я выхожу из игры.

Его чуть не убили. Карманы Левти оттопыривались от выигранных денег, и противники потребовали, чтобы он дал им шанс отыграться.

– Я могу уйти, когда захочу, – почесывая ногу, ответил он. А когда один из игроков схватился за его замусоленные лацканы, Левти добавил: – Но пока я не хочу.

Он снова сел за стол, почесывая уже другую ногу, и раз за разом стал проигрывать. Когда все деньги закончились, Левти поднялся и, еле сдерживая гнев, спросил:

– Теперь я могу идти?

Противники отпустили его, рассмеявшись, и начали сдавать карты для нового банка. Левти вышел из казино с удрученным видом, а потом, спрятавшись за пальмами, нагнулся и достал из своих грязных носков заначку.

– Смотри, что я нашел, – хвастаясь, сообщил он на причале Дездемоне. – Наверное, их кто-то потерял. Теперь мы можем нанять судно.

Дездемона вскрикнула, обняла его и поцеловала прямо в губы. Отпрянув, она покраснела и отвернулась к морю.

– Слышишь, эти англичане опять играют, – промолвила она.

Она имела в виду оркестр на «Железном герцоге». Каждый вечер во время офицерского ужина на палубе играл оркестр. Музыка Вивальди и Брамса долетала до берега. А майор военно-морского флота Его Величества Артур Максвелл, попивая бренди, вместе со своими подчиненными рассматривал в бинокль происходящее на берегу.

– Народу порядочно.

– Похоже на вокзал Виктория в сочельник, сэр.

– Вы только посмотрите на этих горемык. Брошены на произвол судьбы. Когда они узнают об отъезде греческого уполномоченного, здесь начнется сущий ад.

– А мы не будем эвакуировать беженцев, сэр?

– Нам приказано защищать английскую собственность и английских граждан.

– Конечно, сэр, но если в город войдут турки и начнется резня...

– Мы ничем не можем помочь, Филипс. Я провел много лет на Ближнем Востоке. И понял только одно: с этими людьми ничего нельзя сделать. Абсолютно ничего. Самые лучшие из них – турки. Армяне подобны евреям. Ни морали, ни интеллекта. А что касается греков, посмотрите сами. Сожгли всю страну, а теперь сбежали сюда и требуют, чтобы им помогли. Хорошие сигары, не правда ли?

– Замечательные, сэр.

– Табак из Смирны. Лучший в мире. Мне прямо плакать хочется, Филипс, когда я думаю, сколько его осталось на складах.

– Может, нам послать отряд, чтобы спасти его, сэр?

– Кажется, я слышу сарказм в вашем голосе, Филипс?

– Еле уловимый, сэр.

– Господи, Филипс. Я же не бесчувственный. Я бы очень хотел помочь этим людям. Но мы не можем. Это не наша война.

– Вы в этом уверены, сэр?

– Что вы имеете в виду?

– Мы могли бы поддержать греческие силы. Учítывая, что мы же их сюда и послали.

– Они сами рвались. Венизелос и его команда. Боюсь, вы не понимаете всю сложность положения. У нас есть свои интересы в Турции. Мы должны действовать максимально осторожно. Мы не можем оказаться втянутыми в эти византийские игры.

– Понятно, сэр. Еще коньяку?

– Да, спасибо.

– Но город очень красивый, не так ли?

– Пожалуй. Вы знаете, что Страбон сказал о Смирне? Он назвал ее самым красивым городом Азии. Но это было во времена Августа. И она до сих пор сохранилась. Взгляните, Филипс. Рассмотрите все внимательно.

К седьмому сентября 1922 года все греки в Смирне, включая Левти Стефанидиса, надели фески, чтобы выдать себя за турок. В Чесме эвакуировались последние греческие солдаты. Турецкая армия находилась в тридцати милях от города, а из Афин так и не прибыли корабли для вывоза беженцев.

Левти, при деньгах и в феске, пробирается сквозь толпу на причале. Он пересекает рельсы конки и идет вверх. Находит мореходное управление. Внутри клерк – он склонился над списками пассажиров. Левти достает свой выигрыш и произносит:

– Два билета до Афин.

– Каюта или палуба? – не поднимая головы, спрашивает клерк.

– Палуба.

– Тысяча пятьсот драхм.

– Нет, каюта нам не нужна, – говорит Левти, – нас вполне устроит палуба.

– Это за палубу.

– Тысяча пятьсот? У меня нет таких денег. Еще вчера это стоило пятьсот.

– То было вчера.

Восьмого сентября 1922 года генерал Хаджинестис в своей каюте потирает правую ногу, потом левую, массирует их костяшками пальцев и встает. С достоинством выходит на палубу – точно так позднее он пойдет на казнь в Афинах, где его приговорят к смерти за проигранную войну.

На причале греческий гражданский губернатор Аристид Стергиадис садится в шлюпку, чтобы покинуть город. Толпа кричит, улюлюкает и потрясает кулаками ему вслед. Генерал Хаджинестис спокойно наблюдает за происходящим. Толпа заслоняет ему его любимое кафе. Единственное, что он видит, так это вывеску кинотеатра, в котором десять дней тому назад он смотрел «Танго смерти». Потом до него долетает свежий запах жасмина, хотя, возможно, это еще одна галлюцинация. Он вдыхает аромат цветов, шлюпка подплывает к кораблю, и смертельно бледный Стергиадис поднимается на борт.

И тогда генерал Хаджинестис отдает свой первый за несколько прошедших недель военный приказ: «Поднять якоря! Задний ход! Полный вперед!»

Левти и Дездемона с берега наблюдают за отплытием греческого флота. Толпа бросается к воде, вздымает свои четыреста тысяч кулаков и кричит. А затем наступает тишина. По мере того как люди осознают, что родина предала их, Смирна оставлена и теперь ничто не отделяет их от наступающих турок, все замолкают.

(Не помню, говорил ли я, что летом на улицах Смирны были расставлены корзины с лепестками роз? Упоминал ли я, что все жители этого города владели французским, итальянским, греческим, турецким, английским и голландским языками? А рассказывал ли я о знаменитых смоквах, которые доставляли сюда караваны верблюдов, – смоквы сбрасывали прямо на землю, так что женщины втапывали их в соленую воду, а дети садились на эти кучи, чтобы справить нужду? А упоминал ли я о том, что зловоние там смешивалось с куда как более приятными ароматами миндаля, мимозы, лавра и персика и что на Марди Гра¹³ все надевали маски и устраивали изысканные обеды на палубах фрегатов? Я хочу напомнить обо всем этом, потому что все это происходило в городе, не принадлежавшем ни одной стране, так как он объединял собой все страны, а также потому что теперь если вы отправитесь туда, то увидите лишь современные небоскребы, безликие бульвары, огромные фабрики с потогонной системой труда, штаб НАТО и надпись, гласящую: «Измир»¹⁴...)

Сквозь городские ворота промчались украшенные оливковыми ветвями пять машин. За ними галопом неслась кавалерия. Машины с ревом миновали крытый базар и турецкий квартал, разукрашенный красными полотнищами и заполненный ликующими толпами. Согласно правилам оттоманского военного искусства прежде всего захватывается самая высокая точка города, так что войска спускаются сверху вниз. И вот машины въезжают в опустевшую часть города, где прячутся его обитатели, не успевшие покинуть свои дома. Анита Филобозян приникает к окну, чтобы рассмотреть красивые, украшенные листьями машины, и вид их кажется Аните столь чарующим, что она начинает раздвигать ставни, прежде чем мать успеет оттащить ее прочь. К своим жалюзи приникли и другие лица; армянские, болгарские и греческие глаза поблескивают из укрытий и чердаков – всем не терпится взглянуть на победителей и разгадать их намерения. Но машины движутся слишком быстро, а отблески от кавалерийских сабель слепят глаза. И вот уже вся кавалькада вылетает к причалу, где всадники врезаются в толпу, которая с криками разбегается в разные стороны.

На заднем сиденье последней машины восседает Мустафа Кемаль. Он исхудал от битв и сражений. Его голубые глаза сияют. Он не пил уже больше двух недель. («Дивертикул», от которого лечил пашу доктор Филобозян, был всего лишь похмельем. Кемаль, поборник прозападного направления и создания светского государства, до самого конца оставался верен своим взглядам и умер от цирроза печени в пятьдесят семь лет.)

Проезжая мимо, Кемаль осматривает толпу и видит, как с чемодана поднимается молодая женщина. Взгляды голубых и карих глаз встречаются. Две секунды они смотрят друг на друга. Даже меньше. Кемаль отворачивается, и кавалькада удаляется.

Теперь все зависит от ветра. Тринадцатое сентября 1922 года, среда, час ночи. Левти и Дездемона провели в городе уже неделю. Аромат жасмина сменился запахом керосина. Вокруг армянского квартала выстроены баррикады. Турецкие войска заблокировали выход с причала. Но ветер продолжает дуть не в том направлении. Однако к полуночи он меняется и начинает дуть на юго-запад, то есть в противоположную от турецких высот сторону, по направлению к порту.

В темноте зажигаются факелы. Три турецких солдата входят в портняжную мастерскую. Факелы освещают рулоны ткани и костюмы, висящие на вешалках. Затем проступает фигура и самого портного. Он сидит за швейной машинкой, правая нога по-прежнему на педали. Свет делается еще ярче, и тогда становится видно его лицо с пустыми глазницами и кровавыми подтеками от выдранной бороды.

¹³ Марди Гра (*фр., букв.* «жирный вторник») – вторник перед началом католического Великого поста.

¹⁴ Измир – турецкое название Смирны.

Весь армянский квартал охвачен языками пламени. Словно миллионы светлячков, искры разлетаются по темному городу, прорастая огнем везде, где приземляются. Доктор Филобозян вешает на балкон мокрый ковер, торопливо возвращается в темный дом и закрывает ставни. Но зарево пожаров все равно проникает в дом, полосами выхватывая то испуганные глаза Туки, то голову Аниты, повязанную серебряной лентой, как у Клары Боу, то обнаженную шею Розы, то темноволосые склоненные головы Степана и Гарегина.

При всполохах пламени доктор Филобозян в пятый раз за этот вечер перечитывает: «... и препоручает его опеке любого, кому он сочтет нужным предъявить это письмо».

– Слышишь? «Опеке»...

В доме напротив миссис Бидзикян исполняет первые три такта арии Царицы ночи из «Волшебной флейты». Это звучит настолько противоестественно на фоне других звуков – грохота выламываемых дверей, криков и женских рыданий, – что все поднимают головы. Миссис Бидзикян снова повторяет до, до-бемоль и до-диез еще несколько раз, словно репетирует, а потом берет ноту, которую никто из них никогда не слышал, и тогда все понимают, что она вовсе не поет.

– Роза, принеси мне сумку.

– Нет, Нишан, – возражает жена. – Если они тебя увидят, то поймут, что мы прячемся.

– Никто меня не увидит.

Дездемона сначала приняла всполохи пожаров за опознавательные огни на судах. Оранжевые отблески трепетали чуть выше ватерлинии американского «Нефелиума» и французского парохода «Пьер Лоти». Но затем осветилась и вода вокруг них, словно в гавань заплыла целая стая флюоресцирующих рыб.

Голова Левти лежала на ее плече. Она не знала, спит ли он.

– Левти. Левти? – Он не ответил, и она поцеловала его в макушку. И тут завывли сирены.

Горело не в одном месте, а повсюду. На склоне холма светилось не меньше двадцати оранжевых точек. И до чего же они упорны! Стоило пожарным погасить одну, как тут же загоралось где-нибудь в другом месте. Пожары занимались в повозках с сеном и в мусорных бочках, огонь расползлся по подтекам пролитого керосина, огибал углы, вторгался в дома через выбитые двери. Язык пламени врывается в пекарню Берберяна и быстро расправляется с хлебными полками и подносами с кондитерскими изделиями, потом переходит на жилые помещения и начинает карабкаться вверх по лестнице, где и сталкивается с Карлом Берберяном, – тот пытается остановить огонь одеялом. Но пламя перескакивает через него и врывается в дом.

Пожирая восточный ковер, спускается к заднему крыльцу, пробегает, как канатоходец, по бельевой веревке и перекидывается на следующее здание. Взбирается на подоконник и замирает, словно потрясенное удачей: здесь все будто специально создано для горения – дамасский диван с длинной бахромой, стол красного дерева, ситцевые абажуры. Жар обдирает обои; и это происходит не только здесь, но сразу в десяти или пятнадцати других домах, а потом еще в двадцати пяти, один дом загорается от другого, пока не заполыхает целый квартал. Город наполняется вонью от вещей, совершенно не приспособленных для сжигания: вакса, крысиный яд, зубная паста, струны, бандажи, детские колыбели, каучук. А также волосы и кожа. Да, теперь уже пахнет горелыми волосами и человеческой кожей. Левти и Дездемона стоят на причале вместе с остальными, но все слишком потрясены, чтобы реагировать, или слишком измучены, или страдают от тифа и холеры. И вдруг все эти огни со склона объединяются в одну огромную стену, которая начинает двигаться прямо на них.

(И тут я припоминаю такую картину: мой отец Мильтон Стефанидис в халате и тапочках, склонившийся к огню в камине в рождественское утро. Только раз в год необходимо сжечь горы оберточной бумаги и картонных упаковок, преодолев запрет Дездемоны зажигать камин. «Ма, – предупреждает Мильтон, – я собираюсь сжечь этот хлам». Дездемона вскрикивает и

хватает свою палку. Отец достает длинную спичку из шестиугольного коробка. Но Дездемона уже скрывается на кухне, где стоит электрическая плита. «Ваша бабушка не любит огня», – сообщает нам отец и, чиркнув спичкой, подносит ее к бумаге, разукрашенной эльфами и Санта-Клаусами, огонь вспыхивает, а мы так и остаемся американскими несмышленишками, с восторгом бросающими в пламя ленты, бумагу и коробки.)

Доктор Филобозян вышел на улицу, огляделся и стремглав бросился в дверь напротив. Поднявшись на площадку, он увидел затылок миссис Бидзикян, которая сидела в гостиной. Он подбежал и начал ее успокаивать, объясняя, что он – доктор Филобозян из дома напротив. Казалось, миссис Бидзикян кивнула, но ее голова не поднялась обратно. Доктор Филобозян встал рядом с ней на колени и, дотронувшись до ее шеи, ощутил слабый пульс. Он осторожно стащил ее с кресла и уложил на пол. И тут услышал топот на лестнице. Он бросился прочь и спрятался за драпировкой как раз в тот момент, когда в гостиную ворвались солдаты.

Минут пятнадцать они обыскивали комнату, забирая все, что оставили предшественники. Они вытаскивали ящики и взрезали обивку диванов в поисках спрятанных там драгоценностей и денег. Доктор Филобозян выждал еще целых пять минут после их ухода и снова подошел к миссис Бидзикян. Пульса уже не было. Он накрыл ее лицо своим носовым платком и перекрестил, потом подхватил свой саквояж и бросился вниз по лестнице.

Пламени предшествует жар. Не погруженные и сваленные вдоль причала смоквы начинают поджариваться, шипеть и выпускать сок. Их сладкий аромат смешивается с запахом гари. Дездемона и Левти вместе с остальными стоят как можно ближе к воде. Бежать некуда. На баррикадах турецкие солдаты. Люди молятся, вздымают руки к небесам и протягивают их к кораблям, стоящим в порту. Мечущиеся по воде лучи прожекторов высвечивают плывущих и тонущих.

– Мы умрем, Левти.

– Нет. Мы выберемся. – Хотя он и сам не верит в это. Он смотрит на огонь и в глубине души уверен в их неизбежной гибели. И эта уверенность заставляет его сказать то, что в других обстоятельствах никогда бы не решился и о чем даже не подумал бы. – Мы выберемся. И ты выйдешь за меня замуж.

– Нам не надо было уходить. Надо было оставаться в Вифинии.

Когда огонь приближается почти вплотную, распахиваются двери французского консульства, и военно-морской гарнизон выстраивается в две шеренги от причала к порту. Трехцветный флаг опускается вниз. Из консульства выходят мужчины в кремовых костюмах и женщины в соломенных шляпках и под руку шествуют к ожидающему их судну. Сквозь скрещенные винтовки морских пехотинцев Левти различает свежую пудру на лицах женщин и зажженные сигары в зубах мужчин. Одна дама держит под мышкой маленького пуделя. Другая спотыкается, ломает каблук и находит утешение в объятиях мужа. Когда судно отчаливает, к толпе обращается французский чиновник:

– Будут эвакуированы только граждане Франции. Оформление виз начнется немедленно.

Когда раздается стук, все подпрыгивают от неожиданности. Степан подходит к окну и выглядывает.

– Наверное, это папа.

– Впусти его! Скорей! – говорит Туки. Гарегин бросается вниз, перепрыгивая через две ступени. У двери он останавливается, переводит дух и открывает ее. Сначала ему ничего не удастся разглядеть. Затем раздается слабое шипение и оглушительный гром. Ему кажется, что этот звук не имеет к нему никакого отношения, но потом замечает, что на пол вдруг падает оторвавшаяся от его рубашки пуговица. Гарегин наклоняется, и тут же его рот заполняется теплой жидкостью. Он чувствует, что его отрывают от пола, и это ощущение вызывает у него детские

воспоминания, когда отец подбрасывал его в воздух, поэтому он говорит: «Папа, пуговица», но затем его поднимают еще выше, и он успевает заметить стальной штык, когда тот входит в его грудь. Отблески огня играют на дуле винтовки и освещают восторженное лицо солдата.

Огонь подбирается к толпе на причале. Загорается крыша американского консульства. Языки пламени карабкаются по зданию кинотеатра, пожирая его шатер. Толпа отступает назад. Но Левти, почувствовав момент, непоколебим.

– Никто не узнает, – повторяет он. – Кто может узнать? Кроме нас, никого не осталось.

– Это неправильно.

Крыши обваливаются, люди кричат, но Левти упорно прикивает к уху сестры.

– Ты обещала мне подыскать хорошенькую гречанку. Ну так это ты.

Слева от них человек бросается в воду, пытаясь утопиться, справа рождает женщина, которую муж прикрывает своим пиджаком. Повсюду раздаются крики: «Горим! Горим!» Дездемона указывает на огонь.

– Слишком поздно, Левти. Теперь ничто не имеет значения.

– Но если мы выживем? Тогда ты выйдешь за меня?

Она кивает. И это решает все. Левти бегом бросается в сторону огня.

Видоискатель мечется взад-вперед, выхватывая отдаленные фигуры беззвучно кричащих и протягивающих с мольбой руки беженцев.

– Они же заживо поджарят этих несчастных.

– Разрешите взять на борт пловца, сэр.

– Запрещаю, Филипс. Стоит взять одного – и придется брать всех.

– Это девочка, сэр.

– Какого возраста?

– На вид лет десять-одиннадцать.

Майор Артур Максвелл опускает бинокль. Треугольные желваки вздуваются на его скулах и снова исчезают.

– Взгляните на нее, сэр.

– Филипс, мы не можем руководствоваться эмоциями. На кон поставлено нечто большее.

– Взгляните на нее, сэр.

Майор Максвелл бросает взгляд на капитана Филиппса, и крылья его носа начинают раздуваться. Затем он хлопает себя рукой по бедру и направляется к борту.

Луч прожектора скользит по воде, очерчивая круг. Вода в его свете выглядит бесцветным бульоном, в котором плавают самые разнообразные предметы: ярко-оранжевый апельсин, мужская шляпа с остатками экскрементов на полях, обрывки бумаги. И вдруг среди этой безжизненной материи возникает она – намокшее розовое платье выглядит красным, волосы облепили маленькую головку. Ее глаза уже не выражают мольбу, она просто смотрит. Маленькие ножки взбивают воду, как плавники.

Оружейный огонь с берега то и дело вздымает вокруг нее фонтанчики. Но она не обращает на это никакого внимания.

– Выключите прожектор.

Свет гаснет, и стрельба прекращается. Майор Максвелл смотрит на часы.

– Сейчас двадцать один пятнадцать. Я уйду в свою каюту, Филипс, и пробуду там до семи ноль-ноль. Если за это время беженка будет поднята на борт, я не буду об этом знать. Понятно?

– Понятно, сэр.

Доктору Филобозяну даже не пришло в голову, что изуродованное тело, через которое он переступил на улице, – это его младший сын. Он увидел только, что дверь его дома открыта. Войдя в прихожую, он остановился и прислушался. Вокруг была тишина. Медленно, не выпуская из рук саквояжа, он поднялся по лестнице. Свет горел, и гостиная была ярко освещена. Туки ждала его на диване. Голова ее была закинута назад, словно она заливалась смехом, открывая рану, в глубине которой поблескивало дыхательное горло. Степан сидел за столом, и его правая рука, в которой он держал охранное письмо, была пригвождена к столешнице кухонным ножом. Доктор Филобозян сделал шаг и поскользнулся, только тут заметив кровавый след, тянувшийся в коридор. Он прошел по нему до спальни и там обнаружил своих дочерей. Они нагие лежали навзничь. Груды их были вырезаны. Рука Розы протянута к сестре, словно она пыталась поправить серебряную ленту на ее голове.

Очередь была длинной и двигалась медленно. У Левти было время повторить все необходимые слова. Он восстанавливал грамматику, поглядывая в свой разговорник. Он быстро осваивал урок первый «Приветствия» и, когда достиг стола чиновника, уже был готов.

– Имя?

– Элевтериос Стефанидис.

– Место рождения?

– Париж.

Чиновник поднял голову.

– Паспорт.

– Все погибло в огне. Я потерял все свои документы. – Левти сжал губы и резко выдохнул, как, по его наблюдениям, это делали французы. – Посмотрите, что на мне. Я лишился всех своих костюмов.

Чиновник криво улыбнулся и поставил печать.

– Проходите.

– Со мной еще жена.

– Полагаю, она тоже родилась в Париже?

– Естественно.

– Как ее зовут?

– Дездемона.

– Дездемона Стефанидис?

– Да. У нее та же фамилия, что и у меня.

Когда он вернулся с визами, Дездемона была не одна. Рядом с ней на чемодане сидел мужчина.

– Он пытался броситься в воду. Я еле остановила.

– Они не умеют читать. Они неграмотные, – повторял обезумевший окровавленный мужчина с перевязанной рукой.

Левти попытался найти рану, но так и не смог. Он размотал серебристую ленту, которой была обмотана его рука, и отшвырнул прочь.

– Они не смогли прочитать письмо, – повторил мужчина и посмотрел на Левти – тот сразу же узнал его.

– Это опять вы? – изумился французский чиновник.

– Мой кузен, – промолвил Левти на чудовищном французском. И чиновник поставил штамп еще на одну визу.

Моторная лодка доставила их на корабль. Левти держал доктора Филобозяна, который норовил броситься в воду и утопиться. Дездемона открыла свою шкатулку и развернула яйца шелкопрядов, чтобы посмотреть, что с ними делается. Рядом по черной воде плыли люди. Те,

что были живы, взывали о помощи. Проектор высветил мальчика, взбиравшегося по якорной цепи боевого корабля. Но моряки вылили на него солянку, и он соскользнул вниз.

Трое новоявленных граждан Франции взирали с палубы «Жана Барта» на горящий город. Пожар продолжался еще три дня и был виден с расстояния в пятьдесят миль. Моряки ошибочно принимали поднимающийся дым за гигантский горный кряж. В стране, куда они направлялись, уничтожение Смирны не сходило с первых полос два дня, пока его не затмило дело Холлса – Миллс (тело протестантского священника Холлса было обнаружено в спальне привлекательной хористки мисс Миллс). Полковник военно-морского флота Соединенных Штатов Марк Бристоль, обеспокоенный тем, чтобы сохранить американо-турецкие отношения, выпустил пресс-релиз, в котором утверждал, что «количество погибших вследствие убийств, пожаров и казней определить невозможно, но их общее число не превышает двух тысяч». Американский консул Джордж Хортон назвал большую цифру. Из четырехсот тысяч христиан, проживавших в Смирне до пожара, к первому октября осталась ровно половина. Хортон разделил это число пополам и назвал число погибших – сто тысяч.

Якоря были подняты. И палуба задрожала под ногами, когда двигатели эсминца дали задний ход. Дездемона и Левти глядели на удаляющуюся Малую Азию.

Когда эсминец проходил мимо «Железного герцога», английский военный оркестр заиграл вальс.

Шелковый путь

Согласно древней китайской легенде, однажды, в 2640 году до Рождества Христова, принцесса Ши Линь-цзы сидела под тутовым деревом, когда вдруг к ней в чашку чая упал кокон тутового шелкопряда. А когда она попыталась вытащить его, то заметила, что кокон начинает раскручиваться в горячей жидкости. Принцесса отдала один конец нити своей служанке и велела ей выйти. Служанка вышла из покоев принцессы во двор, затем миновала дворцовые ворота, и только когда удалилась от Запретного города на полмили, нить закончилась. (На Западе эта легенда, слегка мутировав за три тысячелетия, превратилась в историю о физике и яблоке. Впрочем, смысл остался тем же: великие открытия, будь то шелк или сила земного притяжения, всегда сваливаются с неба, и делают их люди, бездельничающие под деревьями.)

Отчасти я ошущаю себя этой китайской принцессой, чье открытие дало Дездемоне средства к существованию. Так же, как она, я разматываю свою историю, и чем длиннее нить моего повествования, тем меньше остается рассказывать. Размотайте пряжу, и вы вернетесь к зародышу кокона – крохотному узелку, первой нежной петельке. Раскручивая свою историю, я вижу, как «Жан Барт» пришвартовывается в Афинах. Я вижу своего деда и бабушку снова на суше, готовящимися к новому путешествию. В предплечья сделаны необходимые прививки, на руки выданы паспорта. У причала материализуется другой корабль – «Джулия». И раздаются звуки туманного горна.

А теперь взгляните: с палубы «Джулии» что-то раскручивается. Что-то цветастое зависает над водами Пирея.

В те времена отъезжающие в Америку брали на борт клубки пряжи, а концы нитей держали родственники, собиравшиеся на пирсе. И когда «Джулия» дала гудок и стала отходить от причала, несколько сотен разноцветных нитей повисли над водой. Люди кричали, бешено махали руками и поднимали вверх младенцев, память о которых, конечно же, вскоре выветривалась. Маховые колеса взбивали воду, в руках трепетали платочки, а на палубе начинали раскручиваться мотки пряжи. Красные, желтые, синие, зеленые нити тянулись к пирсу. Сначала медленно, так что клубок делал один оборот в десять секунд, а потом, по мере того как пароход набирал скорость, все быстрее и быстрее. Пассажиры не выпускали из рук нити до последнего, поддерживая эту тонкую связь с исчезавшими вдали лицами. Но клубки один за другим заканчивались. И нити, подхваченные ветром, взлетали вверх.

Левти и Дездемона (а теперь я уже окончательно могу сказать – мои дед и бабушка) с разных концов палубы наблюдали за тем, как это воздушное покрывало относит все дальше и дальше. Дездемона стояла между двумя воздуховодами в форме огромных туб. А Левти слонялся в центре с другими холостяками. Последние три часа они не виделись. Утром вместе выпили кофе в портовом кафе, после чего каждый взял свой чемодан, а Дездемона еще и шкатулку с коконами, и, как профессиональные шпионы, разошлись в разные стороны. У моей бабушки были фальшивые документы. В ее паспорте, который греческое правительство согласилось выдать при условии ее немедленного отъезда из страны, значилась девичья фамилия ее матери – Аристос, а не Стефанидис. Поднимаясь на борт «Джулии», она предъявила его вместе с посадочным билетом, после чего, как и было запланировано, отправилась на корму.

Когда пароход вошел в фарватер, повернул на запад и начал набирать скорость, вдалеке снова раздался звук туманного горна. Юбки, полы пиджаков и платки затрепетали на ветру. Несколько шляп слетело в воду, что вызвало смех и веселье. Пряжа, колыхавшаяся в воздухе, была уже едва видна. Ее провожали взглядами до последнего. Дездемона одна из первых спустилась вниз. Левти еще с полчаса постоял на палубе. Это тоже было частью их плана.

В первый день плавания они не разговаривали друг с другом. Во время трапез поднимались на палубу и вставали в разные очереди. Поев, Левти присоединялся к мужчинам, курившим у борта, а Дездемона устраивалась рядом с женщинами и детьми, прятаясь от ветра.

– Тебя кто-нибудь будет встречать? – интересовались женщины. – Может, у тебя там жених?

– Нет. Только кузина в Детройте.

– Ты один? – спрашивали мужчины Левти.

– Да. Свободен как ветер.

По вечерам они спускались вниз, каждый в свою каюту. Лежа на отдельных койках, где матрацами служили водоросли, завернутые в мешковину, а подушками – сложенные вдвое спасательные жилеты, они пытались заснуть и привыкнуть к качке, а также к разнообразным запахам. Путешественники везли с собой всевозможные пряности, засахаренные фрукты, консервированные сардины, осьминогов в винном соусе и бараньи ноги с чесноком. В те времена национальность можно было определить по запаху. Лежа на спине с закрытыми глазами, Дездемона отчетливо ощущала луковый запах венгерки справа от себя и запах сырого мяса, исходивший от армянки слева. (А они, в свою очередь, могли определить национальность Дездемоны по запаху чеснока и йогурта.) У Левти страдали не только органы обоняния, но и слуха. Один его сосед, по имени Каллас, храпел, как миниатюрный туманный горн, а другой, доктор Филобозян, плакал во сне. Все время после отплытия из Смирны он был вне себя от горя. Измученный и опустошенный, с черными провалами вокруг глаз, он лежал не раздеваясь, свернувшись комочком. Он почти ничего не ел и отказывался выходить на палубу. А когда его удавалось вывести, грозился броситься за борт.

В Афинах доктор Филобозян умолял их оставить его в покое. Он отказывался обсуждать планы на будущее и говорил, что ему некуда ехать, так как у него нет семьи.

– У меня нет семьи. Они убили их.

– Бедняга, – говорила Дездемона. – Он не хочет жить.

– Мы должны ему помочь, – настаивал Левти. – Он дал мне денег. Он перевязал мне руку. Мы никому не были нужны, кроме него. Мы возьмем его с собой.

Пока они ждали деньги от своей кузины, Левти делал все возможное, чтобы успокоить доктора, и наконец убедил его поехать вместе с ними в Детройт.

– Куда угодно, – ответил доктор Филобозян. – Главное, чтобы подальше. – Но теперь, на пароходе, он только и делал, что говорил о смерти.

Путешествие должно было продлиться дней двенадцать – четырнадцать. План Левти и Дездемоны был подробно разработан. На второй день сразу после обеда Левти предпринял обход судна, перешагивая через тела, распростертые на палубе третьего класса. Он миновал лестницу, что вела к рубке, и протиснулся мимо грузового отсека с каламатскими оливками, оливковым маслом и морской губкой с Коса. Скользя рукой по зеленому брезенту спасательных шлюпок, он продолжал двигаться до тех пор, пока не наткнулся на цепочку, отделявшую третий класс от рубки. В лучшую пору своей жизни «Джулия» входила в Австро-венгерский флот, славилась современными удобствами («электрический свет, вентиляция и самые комфортабельные каюты») и раз в месяц совершала плавание из Триеста в Нью-Йорк. Теперь электрические лампочки включались только в первом классе, да и то время от времени. Железные поручни проржавели. А греческий флаг прокоптился от дыма. Все пропахло старыми швабрами и застарелой блевотиной. Левти еще не привык к качке, и ему то и дело приходилось хвататься за борт. Некоторое время он постоял у цепочки, потом перешел на левый борт и вернулся на корму. Как и было условлено, Дездемона стояла одна у борта. Проходя мимо нее, Левти улыбнулся и кивнул. Она холодно ему ответила и снова устремила свой взгляд в море.

На следующий день Левти предпринял еще одну такую послеобеденную прогулку – до палубы, к левому борту и обратно на корму. И снова улыбнулся и кивнул Дездемоне. На этот

раз Дездемона ответила ему улыбкой. Вернувшись к курильщикам, Левти поинтересовался, не знает ли кто-нибудь из них, как зовут эту одинокую молодую женщину.

На четвертый день Левти остановился рядом с Дездемоной и представился.

– Пока погода стоит хорошая.

– Надеюсь, так и дальше продлится.

– Вы путешествуете одна?

– Да.

– Я тоже. А куда вы направитесь в Америке?

– В Детройт.

– Какое совпадение! Я тоже в Детройт.

И они поболтали еще несколько минут, после чего Дездемона извинилась и спустилась вниз.

По пароходу быстро распространились слухи о зарождающемся романе. От нечего делать все только и обсуждали, что высокий молодой грек с хорошими манерами очарован темноволосяй красавицей, которая повсюду ходит с резной шкатулкой.

– Они оба одиноки, – говорили вокруг. – И у них у обоих родственники в Детройте.

– Они не слишком-то подходят друг к другу.

– Почему?

– У него более высокое положение. У них ничего не получится.

– Но, похоже, она ему нравится.

– Посередине океана кто не понравится! Ему просто больше нечем заняться.

На пятый день Левти и Дездемона предприняли совместную прогулку до палубы. А на шестой он предложил ей опереться на его руку, и она согласилась.

– Это я их познакомил! – уже хвастался кто-то из курильщиков.

– Она заплетает косы и выглядит как крестьянка, – фыркали городские барышни.

Моего деда оценивали более высоко. Поговаривали, что он торговец шелком из Смирны, который потерял все свое состояние во время пожара; его называли внебрачным сыном Константина I от французской любовницы, а также шпионом кайзера. Левти не опровергал ничьих домыслов и решил воспользоваться трансатлантическим путешествием для создания своего нового образа. Он накидывал грязное одеяло себе на плечи, как оперный плащ, понимая, что все происходящее сейчас тут же становится правдой и что, кем бы он ни представился, тем он и станет – другими словами, американцем, – и отправлялся ждать Дездемону. Когда она появлялась, он поправлял свою накидку, кивал приятелям и шел выразить ей свое почтение.

– Он влюбился!

– Не думаю. Просто хочет позабавиться. Так что лучше бы ей поостеречься, а то придется носить с собой не только этот ларчик.

А мои дед и бабка только получали удовольствие от этого спектакля. Когда они знали, что их слышат, они обменивались рассказами о себе, как это и положено на свиданиях.

– У тебя есть братья или сестры? – спрашивал Левти.

– У меня был брат, – задумчиво отвечала Дездемона. – Но он сбежал с турчанкой, и мой отец проклял его.

– Как это жестоко. По-моему, любовь превыше всех запретов. А ты как думаешь?

– По-моему, сработало, – шептались они наедине друг с другом. – Никто ничего не заподозрил.

Каждый раз, встречая Дездемону на палубе, Левти делал вид, будто они только что познакомились. Он подходил к ней, заводил легкий разговор, восхищался красотой заката, а затем галантно переходил к комплиментам ей и ее красоте. Дездемона тоже достойно исполняла свою роль. Сначала она вела себя сдержанно и всякий раз, когда он отпускал непристойную шутку, отнимала у него свою руку, говоря, что мама предостерегала ее от общения с такими

мужчинами, как он. Они проводили время, играя в этот воображаемый флирт, и мало-помалу начали поддаваться ему. (Они сочиняли все новые воспоминания и изобретали себе новую судьбу. Зачем они это делали? К чему было тратить на это столько сил? Неужели нельзя было сразу сказать, что они помолвлены? Или что они давно уже собирались пожениться? Конечно, можно было. Но они обманывали не своих спутников, а самих себя.)

И плавание облегчало это. Путешествие через океан в компании пяти сотен незнакомцев обеспечивало им полную анонимность и помогало заново создавать себя. На «Джулии» царил дух преображения. Глядя на волны, фермеры-табаководы представляли себя автогонщиками, красители шелка – воротилами с Уолл-стрит, а модистки – танцовщицами в «Капризе Зигфелда». Вокруг простирался серый океан. Он похоронил для них Европу и Малую Азию. Впереди ждала Америка и новые горизонты.

На восьмой день плавания Левти Стефанидис, величественно опустившись на одно колено, на глазах шестисот шестидесяти трех пассажиров сделал предложение Дездемоне Аристос, сидевшей на крепительной утке. У Дездемоны перехватило дыхание. Женатые подкалывали холостяков: учитесь, мол. Моя бабка, проявив артистический талант, не уступающий ее способности впадать в ипохондрию, изобразила весь спектр чувств: удивление, удовольствие, задумчивость, целомудрие, граничащее с готовностью отказать, и наконец под аплодисменты окружающих – томное согласие.

Церемонию проводили на палубе. За неимением подвенечного платья Дездемона набросила на голову позаимствованную шелковую шаль. А капитан Контулис одолжил Левти галстук, заляпанный мясной подливкой.

– Не расстегивай пиджак, и никто не заметит, – напутствовал он его.

Свадебные венцы были сплетены из каната. Цветов взять было негде, поэтому шафер, парень по имени Пелос, только менял пеньковые венцы на головах жениха и невесты.

Жених и невеста исполнили танец Исайи: переплетя руки и прижавшись друг к другу бедрами, они трижды обошли капитана, соединяя нити своих жизней в один кокон. Никакой патриархальной линейности. Мы, греки, женимся кольцами, чтобы не забывать основополагающих матримониальных истин: для того чтобы стать счастливым, надо обрести разнообразие в повторении; чтобы двигаться вперед, надо вернуться к месту исхода.

В случае моих предков это кружение выглядело следующим образом: когда они обошли палубу в первый раз, они еще были братом и сестрой; когда во второй, то уже стали женихом и невестой, а на третий превратились в мужа и жену.

В этот вечер солнце садилось прямо перед носом парохода, указывая путь на Нью-Йорк. Встала луна, и серебристая дорожка перерезала океан. Капитан Контулис вышел из рубки и зашагал по палубе. Ветер крепчал, и «Джулию» то и дело подбрасывало на волнах. Но капитан Контулис ни разу не споткнулся и даже умудрился прикурить сигарету своей любимой индонезийской марки, прикрыв пламя спички козырьком фуражки. Совершая обход в своем кителе не первой свежести и высоких критских ботинках, капитан Контулис осмотрел бортовые огни, сложил раскладные стулья на палубе и проверил крепеж спасательных шлюпок. «Джулия» казалась такой одинокой во всей огромной Атлантике; все аварийные люки на судне были задраены. На палубах не было ни души, лишь два американских бизнесмена, накрывшись одеялами, распивали по стаканчику на ночь. «Насколько я знаю, Тилден не просто играет в теннис со своими протеже, если вы меня понимаете...» – «Вы шутите!» – «Но и угощает их круговой чашей». Проходя мимо и ничего не поняв, капитан Контулис только кивнул головой.

В одной из спасательных шлюпок Дездемона шептала: «Не смотри». Она лежала на спине, и между ними больше не было одеяла из козьей шерсти, поэтому Левти просто закрыл лицо руками и подглядывал через чуть раздвинутые пальцы. Лунный свет сочился через прореху в брезенте, постепенно заполняя шлюпку. Левти неоднократно видел, как раздевается

Дездемона, но тогда она не была освещена луной и всегда оставалась для него лишь силуэтом. Она еще никогда так не изгибалась, поднимая ноги, чтобы снять туфли. Он наблюдал за тем, как она стаскивает юбку и кофту, и чувствовал, что в лунном сиянии сестра его выглядит совсем иначе. Она светилась. Само ее тело испускало бледное сияние. Левти моргнул. Луна продолжала подниматься, ее лучи уже добрались до его шеи и глаз, и тут он понял, что на Дездемоне надет корсет. Белая ткань, в которую она завернула коконы шелкопрядов, была не чем иным, как ее свадебным корсетом. Она считала, что никогда его не наденет, и вот час настал. Чашечки бюстгальтера смотрели вверх, на брезентовую кровлю. Пластинки из китового уса обхватывали ее талию. Вниз от маленькой юбочки спускались ни к чему не пристегнутые резинки, так как у моей бабки не было чулок. И сейчас этот корсет поглощал весь свет, производя странный эффект, делая невидимыми голову, лицо и руки Дездемоны. Она походила на крылатую Нику, которую, опрокинув на спину, перевозили в музей победителя. Единственное, чего не хватало, так это крыльев.

Левти снял туфли и носки, а когда вылез из нижнего белья, шляпка заполнилась каким-то грибным запахом. Ему стало стыдно, но Дездемона, похоже, не обратила на это никакого внимания.

Она была поглощена собственными переживаниями. Естественно, корсет напомнил ей о матери, и ее внезапно обуяло чувство вины, которое до этого момента ей удавалось сдерживать. В сутолоке последних дней у нее просто не было времени на то, чтобы подумать об этом.

Левти тоже пребывал в смятении. Несмотря на то, что он был уже измучен своими фантазиями о Дездемоне, сейчас он был рад окружавшему их мраку, особенно потому, что он делал невидимым ее лицо. Многие месяцы Левти спал со шлюхами, похожими на нее, но сейчас ему проще было делать вид, что она – незнакомка.

Казалось, корсет обладает собственными руками: одна нежно ласкала ее между ног, две других обнимали грудь и еще несколько прижимали ее к себе и ластились. Но главное, она вдруг увидела себя в нем новыми глазами – свою тонкую талию, полные бедра, она ощутила себя красивой и желанной, почувствовала себя каким-то другим человеком. Она подняла ноги и, раздвинув их, положила икры на уключины. Она раскрыла свои объятия Левти, который ерзал рядом, раздирая себе в кровь локти и колени, сшибая весла и чуть было не запустив сигнальную ракету, пока наконец в полуобморочном состоянии не попал в мягкое тепло ее тела. Впервые Дездемона ощутила вкус его губ, и единственный сестринский поступок, который она совершила за это время, выразился в упреке: «Негодник, ты занимаешься этим не в первый раз». А Левти только повторял: «Такого со мной никогда не было, никогда...» Я заблуждался, беру свои слова обратно. За спиной Дездемоны билась-таки пара крыльев, поднимавших ее вверх и опускавших вниз.

– Левти! – наконец, задыхаясь, промолвила она. – Кажется, я ощущаю это.

– Что?

– Ну, ты знаешь. Это чувство.

– Новобрачные, – заметил капитан Контулис, глядя на раскачивавшуюся шляпку. – Хорошо быть молодым.

После того как принцесса Ши Линь-цзы, которая вдруг начала восприниматься мной как коронованный вариант встреченной в метро велосипедистки – почему-то я не мог забыть о ней и каждое утро искал ее взглядом, – так вот после того как она открыла существование шелка, ее народ в течение трех тысяч ста девяноста лет хранил рецепт его изготовления в тайне. Каждый, кто пытался похитить из Китая коконы шелкопрядов, подлежал смертной казни. И мои предки никогда не стали бы заниматься шелкопрядением, если бы не император Юстиниан, который, по словам Прокопия, убедил двух миссионеров рискнуть. И в 550 году до нашей эры они похитили из Китая яйца шелколичных червей, поместив их в тогдашние презерва-

тивы (полые палочки) и проглотив их. Кроме этого они привезли и семена тутовых деревьев. В результате Византия стала центром шелководства. Тутовые деревья расцвели на турецких склонах. Шелковичные гусеницы начали поедать их листья. И тысячу четыреста лет спустя потомки этих первых червей оказались в шкатулке моей бабки на борту «Джулии».

Я тоже являюсь потомком контрабанды, так как мои дед и бабка, даже не подозревая об этом, везли в Америку по одному мутировавшему гену пятой хромосомы. И эта мутация тоже насчитывала несколько веков. По словам доктора Люса, впервые этот ген появился в нашем роду где-то около 1750 года в организме некой Пенелопы Евангелатос – моей прапрабабки в девятом поколении. Она передала его своему сыну Петрасу, тот – своим двум дочерям, те – еще троим из своих пятерых детей и так далее. Будучи рецессивным геном, он проявлялся вспышками. Генетики называют это спорадической наследственностью. Свойство, исчезающее на много десятилетий, чтобы возникнуть снова, когда все о нем позабыли. Именно так оно и воскресло в Вифинии, где время от времени рождались гермафродиты – на вид девочки, которые, вырастая, оказывались мальчиками.

Следующие шесть ночей мои дед и бабка тоже провели в спасательной шлюпке, не обращая внимания на метеорологические условия. Днем, когда Дездемона сидела на палубе и размышляла над тем, что они с Левти делают, в ней поднималось чувство вины, но по ночам ей становилось одиноко, и она, выбравшись из каюты, возвращалась в шлюпку к своему мужу.

Их медовый месяц развивался в обратном направлении. Вместо того чтобы каждый день узнавать друг о друге что-нибудь новое, знакомиться с пристрастиями друг друга, открывать эрогенные зоны и любимые мозоли, Дездемона и Левти делали все возможное, чтобы отдалиться друг от друга. В духе затеянной ими игры они продолжали сочинять себе фальшивые биографии, изобретать братьев и сестер с правдоподобными именами, кузенов, страдающих нравственными пороками, и прочую родню с нервным тиком. Они по очереди рассказывали друг другу свои генеалогии в духе Гомера, которые были полны выдумок и заимствований из реальной жизни, так что временами у них возникали споры из-за того или другого настоящего любимого дяди, и они препирались, как режиссеры на кастинге. И постепенно, по мере того как шло время, эти выдуманные родственники начинали выкристаллизовываться в их сознании. Они выясняли друг у друга их туманные родственные связи. Так, Левти вопрошал:

– А за кого вышла замуж твоя двоюродная сестра Янис?

– Это просто. За хромого Афина, – отвечала Дездемона. (Не тогда ли родилась моя страсть к выяснению родственных связей? Разве моя мать тоже не подвергала меня допросам о разнообразных дядях, тетках и кузенах? Брата она никогда ни о чем не спрашивала, потому что он отвечал за снегоуборщики и трактора; я же должен был обеспечивать цементирование семейных уз, как это и положено женщинам: писать благодарственные открытки, помнить все дни рождения и именины. Мое генеалогическое древо в устах моей матери выглядело следующим образом: «Это твоя кузина Мелия. Она дочка деверя сестры дяди Майка. Его зовут Статис. Ты же знаешь его – такой неповоротливый молочник. У него еще есть сыновья Майк и Джонни. Ты должна ее знать. Мелия! Она твоя троюродная сестра».)

И вот я сообщаю все это вам, послушно цементируя родственные связи и одновременно ощущая тупую боль в груди, потому что понимаю, что эта генеалогия ничего не может вам сказать. Тесси знала, кто кем кому приходится, но она не имела ни малейшего представления о собственном муже и о том, какие родственные связи существовали между ее свекровью и свекром, поскольку все это было сочинено в спасательной шлюпке, где мои дед и бабка создавали свою жизнь.

В области секса они не испытывали никаких проблем. Великий сексолог доктор Люс любит приводить поразительную статистику, свидетельствующую о том, что до 1950 года супруги не занимались оральным сексом. Любовные утехы моих деда и бабки были приятными,

но однообразными. Каждую ночь Дездемона раздевалась до корсета, а Левти начинал ощупывать его крючки и застежки в поисках секретной комбинации, с помощью которой его можно было открыть. Корсет был единственным необходимым им афродизиак, и для моего деда он остался единственным эротическим символом его жизни. Корсет каждый раз, словно заново, открывал ему Дездемону. Как я уже говорил, Левти и до того видел свою сестру обнаженной, но корсет обладал какой-то странной способностью делать ее еще более обнаженной; он превращал ее в запретное и запаянное в броню существо с мягким нутром, которое он должен был обнаружить. Когда наконец застежки шелкали и открывались, Левти, обдирая колени, забирался на Дездемону, и оба замирали, так как всю работу за них выполняли волны.

Их страсть сосуществовала с гораздо более спокойной стороной супружеской жизни. Занятие сексом то и дело сменялось дремой. Поэтому, покончив с одним, они могли спокойно лечь, смотреть на проплывающее над головой ночное небо и обсуждать вполне деловые вопросы.

– Может, муж Лины даст мне работу, – говорил Левти. – У него ведь, кажется, свое дело?

– Я не знаю, чем он занимается. Лина никогда не могла ответить мне на этот вопрос.

– А когда мы накопим немного денег, я открою казино. Азартная игра, бар, может, какое-нибудь шоу. И повсюду пальмы в горшках.

– Тебе надо поступить в колледж. Стать профессором, как этого хотели мама с папой. К тому же, не забывай, мы можем разводить шелкопрядов.

– Забудь ты об этих червях. Рулетка, ребетика, выпивка, танцы. Может, буду продавать гашиш.

– В Америке курить гашиш запрещено.

– Кто это сказал?

– Это не такая страна, – уверенно заявляла Дездемона.

Остатки медового месяца они провели на палубе, придумывая, как бы им миновать остров Эллиса. Это было не так-то просто. В 1894 году была создана Лига по ограничению иммиграции. Генри Кабот Лодж растоптал в Сенате Соединенных Штатов экземпляр «О происхождении видов», заявив, что влияние низших народов из Южной и Восточной Европы ставит под угрозу «всю основу нашей расы». Иммиграционный закон 1917 года лишил права въезда в Соединенные Штаты тридцать три категории нежелательных лиц, поэтому в 1922 году пассажиры на борту «Джулии» обсуждали вопрос о том, как не попасть в эти категории. Во время этих нервных собраний неграмотные учились изображать из себя грамотных, многоженцы – демонстрировать верность единобрачию, анархисты – отрекаться от Прудона, сердечники – симулировать здоровье, эпилептики – преодолевать приступы, носители наследственных заболеваний – избегать упоминания о них. Мои дед и бабушка, находясь в неведении относительно своей генетической мутации, концентрировались на более явных проблемах. Существовала категория «лиц, обвинявшихся в совершении преступлений и дурном поведении, связанном с развратом», а среди них значились и «лица, совершившие инцест».

Они начали избегать пассажиров, страдающих трахомой и сухим кашлем. А Левти для уверенности то и дело перечитывал справку, в которой говорилось:

Элевтериос Стефанидис был вакцинирован и прошел санобработку 23 сентября 1922 года в морской дезинфекционной части Пирея.

Будучи грамотными, демократически настроенными, психически устойчивыми, сертифицированно здоровыми и состоящими в браке (правда, с ближайшим родственником), мои дед и бабушка не видели никаких оснований беспокоиться. Каждый из них имел при себе двадцать пять долларов, а также спонсора – кузину Сурмелину. Всего лишь за год до этого еже-

годная квота на въезд иммигрантов из Южной и Восточной Европы была уменьшена с 783 тысяч до 155 тысяч. Так что попасть в страну без спонсора или выдающихся профессиональных рекомендаций стало практически невозможно. Чтобы увеличить шансы, Левти отложил в сторону французский разговорник и взялся заучивать четыре строки из Нового Завета. На «Джулии» было достаточно тайных осведомителей, знакомых с тестом на грамотность. Лицам разных национальностей предлагались разные отрывки из Писания. Для греков – Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12: «Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного».

– Скопцы? – содрогалась Дездемона. – Кто тебе это сказал?

– Это отрывок из Библии.

– Какой Библии? Только не из греческой. Пойди узнай еще у кого-нибудь, что входит в этот тест.

Но Левти только показал ей карточку, на которой сверху был написан текст по-гречески, а снизу по-английски, и снова повторил абзац, заставляя ее запомнить, – не важно, понимает ли она.

– Мало нам было скопцов в Турции? Теперь мы еще и здесь будем говорить о них.

– Американцы впускают всех, включая скопцов, – пошутил Левти.

– Тогда они могли бы позволить нам говорить по-гречески, раз они такие гостеприимные, – посетовала Дездемона.

Лето заканчивалось, и однажды ночью так похолодало, что Левти стало не до разгадывания комбинации корсета, и вместо этого они просто прижались друг к другу под одеялами.

– А Сурмелина встретит нас в Нью-Йорке? – спросила Дездемона.

– Нет. Нам надо будет поездом добраться до Детройта.

– А почему она не может нас встретить?

– Это слишком далеко.

– Ну и ладно. Все равно она вечно опаздывает.

Края брезента непрерывно хлопали на ветру. Планшир шлюпки покрывался изморозью. Им был виден край трубы и выходящий из нее дым, казавшийся заплаткой на ночном звездном небе. (Они и не догадывались, что эта полосатая скошенная дымовая труба уже говорила им об их будущей родине, нашептывая о Руж-ривер и заводе «Юниройял», о Семи Сестрах и Двух Братьях, но они не слушали; они только морщили носы и прятались от дыма.)

Но если бы промышленная вонь не стала в этом месте так настойчиво вторгаться в мое повествование, а Дездемона и Левти, выросшие в сосновом аромате горного склона и так и не привыкшие к грязной атмосфере Детройта, не начали бы прятаться в шлюпке, они бы ощутили новый запах, примешивавшийся к холодному морскому воздуху, – влажный запах земли и мокрой древесины. Запах суши. Нью-Йорка. Америки.

– А что мы скажем Сурмелине?

– Она и так все поймет.

– А она будет молчать?

– Есть некоторые вещи, о которых она предпочла бы не рассказывать своему мужу.

– Ты имеешь в виду Елену?

– Я ничего не сказал, – ответил Левти.

Потом они заснули, а проснувшись от лучей солнца, увидели над своими головами мужское лицо.

– Выспались? – поинтересовался капитан Контулис. – Может, вам принести еще одно одеяло?

– Извините, – ответил Левти. – Мы больше не будем.

– Конечно, не будете, – откликнулся капитан и в подтверждение своих слов стащил со шлюпки брезент. Дездемона и Левти сели. Вдали, в лучах восходящего солнца, виднелся силуэт Нью-Йорка. Он совсем не походил на город – ни куполов, ни минаретов, – и им потребовалась чуть ли не минута, чтобы осознать высоту его геометрических форм. Над заливом поднимался туман. Вдали сверкали миллионы розовых окон. А еще ближе, в венце из солнечных лучей и в классической греческой тунике, их приветствовала статуя Свободы.

– Ну как? – спросил капитан Контулис.

– За свою жизнь я уже посмотрелся на факелы, – откликнулся Левти.

Однако Дездемона на сей раз проявила больший оптимизм.

– По крайней мере, это женщина, – заметила она. – Может, хоть здесь люди каждый день не убивают друг друга.

Книга вторая

Плавильня английской школы Генри Форда

Любой, берущийся за строительство производства, берется за строительство храма.

Кальвин Кулидж

Детройт всегда держался на колесах. Задолго до Большой детройтской тройки и прозвища «город моторов», задолго до появления автомобильных заводов, фрахтовщиков и индустриального розового освещения по вечерам; когда еще никто не целовался в «Тандербёде» и не обнимался в «модели Т»; когда юный Генри Форд еще не сломал стену своей мастерской, чтобы вывезти на улицу сконструированный им «квадроцикл»; почти за сто лет до того холодного мартовского вечера 1896 года, когда Чарлз Кинг зарулил на своем безлошадном экипаже на Вудворд-авеню (где его двухтактный двигатель тут же и заглох); гораздо, гораздо раньше всего этого, когда город еще представлял собой лишь полоску украденной у индейцев земли, от которой он и получил свое название, форт, переходивший от англичан к французам, пока борьба окончательно не истощила и тех и других и он не оказался у американцев; задолго до всего этого Детройт уже стоял на колесах.

Мне девять лет, и я не отпускаю мясистую потную руку отца. Мы стоим у окна на последнем этаже гостиницы «Понтчартрейн» в даунтауне, куда пришли на традиционный обед. На мне мини-юбка и колготки, с плеча на длинном ремешке свисает белая кожаная сумочка.

Запотевшее стекло покрыто пятнами. Мы в прекрасном настроении. Через минуту я закажу креветки с чесночным соусом.

Руки у папы вспотели, потому что он боится высоты. За два дня до этого, когда он спросил меня, куда я хочу пойти, я закричал своим пронзительным голосом: «На вершину Понтча!» Мне хотелось оказаться высоко над городом, среди финансовых магнатов и политических воротил. И Мильтон сдержал свое обещание. Хотя сердце у него бешено колотилось, он позволил метрдотелю предложить нам ближайший к окну столик; итак, мы здесь, официант в смокинге выдвигает для меня стул, а папа, слишком испуганный, чтобы сесть, раздражается лекцией на историческую тему.

Зачем нужно изучать историю? Для того, чтобы понять настоящее, или для того, чтобы избежать его? Оливковое лицо Мильтона чуть бледнеет, и он говорит: «Вот посмотри. Видишь колесо?»

Я шурюсь, не задумываясь в своем девятилетнем возрасте о будущих морщинах, и смотрю вниз на улицы, о которых, не оборачиваясь, говорит мой отец. И вот он – «колпак» – в центре городской площади с разбегающимися от нее спицами улиц Бэгли, Вашингтона, Вудворда, Бродвеем и Мэдисон.

Это все, что осталось от знаменитого плана Вудворда, начертанного в 1807 году алкоголиком-судьей, назвавшим его в свою честь. (За два года до этого, в 1805-м, город был сожжен до основания – деревянные дома и окружавшие их фермы, построенные в 1701 году Кадиллаком, исчезли с лица земли за три часа. И теперь, в 1969-м, со своим острым зрением я могу разглядеть следы этого пожара в надписи на городском флаге, который реет в полумиле от нас, на Грандсёркус-парк: «Speramus meliora; resurget cineribus» – «Надеемся на лучшее и восстанем из пепла».)

Судья Вудворд представлял себе новый Детройт городской Аркадией, состоящей из сцепленных друг с другом шестиугольников. Каждое колесо должно было существовать отдельно

и в то же время соединяться с другими – в соответствии с идеологией федерализма молодой нации; кроме того, все они должны были быть классически симметричными в соответствии с эстетикой Джефферсона. Эта мечта так никогда до конца и не была реализована. Планирование возможно для таких великих городов, как Париж, Лондон и Рим, – мировых столиц, ориентированных на определенный уровень культуры. Детройт был чисто американским городом, а следовательно, предан идее денег, и потому его планировали, исходя из принципа целесообразности. Начиная с 1818 года город начал строиться вдоль реки – склад за складом, завод за заводом. И колеса судьи Вудворда оказались сплюснутыми, разрезанными пополам и сжатыми в обычные прямоугольники.

Или, если смотреть с крыши ресторана, колеса не то чтобы исчезли, а просто видоизменились. К 1900 году Детройт стал ведущим производителем экипажей и фургонов. В 1922-м, когда в этом городе оказались мои дед и бабка, там изготавливались и другие быстро движущиеся объекты, а также судовые двигатели, велосипеды и даже свернутые вручную сигары. Ну и конечно, автомобили.

Все это можно было заметить прямо из окна поезда. Подъезжая к городу по берегу реки, Левти и Дездемона внимательно рассматривали, как выглядит их новая родина. Они видели, что сельская местность уступила место огороженным стоянкам и вымощенным камнем мостовым. Небо потемнело от смога. Мимо них пролетали здания и кирпичные склады с утилитарными надписями, выведенными белилами: «Компания „Райт и Кей“», «Дж.-Г. Блэк и сыновья», «Детройтские теплицы».

По реке тащились плоские угольно-черные баржи, на улицах шныряли рабочие в грязных комбинезонах и клерки, теребившие подтяжки. А затем появились вывески столовых и пансионатов: «В продаже безалкогольное пиво», «Останавливайтесь только у нас», «Завтраки и ужины по 15 центов»...

Калейдоскоп новых впечатлений соперничал с картинами предыдущего дня. Остров Эллис, поднимающийся из воды, как Дворец дождей. Забитое до потолка багажное отделение. Толпа пассажиров движется по лестнице к залу регистрации. Получив порядковые номера – в соответствии с декларацией «Джулии», – они проходят сквозь строй инспекторов здравоохранения, которые заглядывают им в глаза и уши, шебуршат в волосах и с помощью крючков выворачивают веки. Один из врачей, заметив воспаление на веках доктора Филобозяна, останавливает осмотр и мелом ставит на его пиджаке крестик. Филобозяна выводят из общей очереди. С тех пор мои дед и бабка его больше не видели. «Наверное, он что-то подцепил на пароходе, – замечает Дездемона. – Или у него глаза покраснели от слез». Меж тем брусочек мела продолжал делать свое дело. На животе беременной женщины появились буквы «Бер». На груди старика с сердечной недостаточностью было поставлено «Сер». Буквой «К» были отмечены страдающие конъюнктивитом, а буквой «Т» – больные трахомой. Но при всей своей компетентности медики не могли распознать рецессивную мутацию, таящуюся в пятой хромосоме. Ее нельзя было определить на ощупь или обнаружить с помощью крючков.

Теперь в поезде вместо регистрационных номеров Левти и Дездемона держали в руках путевые карточки: «Предъявить кондуктору: сообщите предъявителю о необходимости пересадки и укажите место назначения, так как предъявитель не владеет английским языком. Место назначения: Главный железнодорожный вокзал, Детройт». Они сидят рядом на свободных местах. Левти с возбужденным видом смотрит в окно. Дездемона, с полыхающим от стыда и гнева за пережитые унижения лицом, сидит, уставившись на свою шкатулку.

– Я больше никому не позволю притронуться к моим волосам, – говорит она.

– Тебе очень идет, – не оборачиваясь, откликается Левти. – Ты стала похожа на американку.

– Я не хочу быть похожей на американку.

На острове Эллис Левти уговорил Дездемону зайти в отделение Христианского союза женской молодежи. Войдя внутрь, в платке и шали, через пятнадцать минут она вышла в припудренном платье и шляпке с мягкими полями, похожей на цветочный горшок. На ее припудренном лице проступала ярость: для завершения картины активистки Христианского союза еще и обстригли ей косы.

С одержимостью человека, ощупывающего дыру в кармане, она уже в пятнадцатый раз запускала руку под шляпку, чтобы прикоснуться к своей голове.

– Это первая и последняя стрижка, – повторила она. (И она сдержала слово. С тех пор Дездемона отращивала волосы, как леди Годива, нося всю их огромную массу под сеточкой и тщательно моя по пятницам; она обрезала волосы только после смерти Левти и отдала Софии Сассун, которая продала их за двести пятьдесят долларов парикмахеру. Тот, по ее словам, изготовил из них целых пять париков, один из которых позднее был приобретен Бетти Форд, так что во время похорон Ричарда Никсона нам удалось увидеть волосы моей бабки на голове жены бывшего президента.)

Однако горе моей бабушки объяснялось не только этим. Когда она открывала шкатулку, то видела внутри лишь свои косы, перевитые траурными лентами. Больше там не было ничего. Продолав с коконами шелковичных гусениц такой огромный путь, она была вынуждена распрощаться с ними на острове Эллис. Шелковичные гусеницы числились в списке паразитов.

Левти не отходил от окна. Всю дорогу от Хобокена он рассматривал потрясающие виды: электрические трамваи, поднимавшие розовощеких пассажиров на холмы Олбани, и заводы, полыхавшие, как вулканы. А однажды, проснувшись на рассвете, когда поезд проезжал мимо очередного города, он принял здание банка с колоннами за Парфенон и решил, что снова оказался в Афинах.

Но вот они миновали реку Детройт, и впереди замаячил сам город. Теперь Левти рассматривал автомобили, припаркованные у тротуаров и напоминавшие огромных жуков. Повсюду виднелись жерла труб, выбрасывавших в атмосферу дым и копоть. Здесь был целый лес труб – красных, кирпичных и высоких серебристых; одни стояли рядами, другие задумчиво попыхи-вали поодиночке, заслоняя солнечный свет. Но потом все потемнело – поезд въехал в здание вокзала.

Главный вокзал Детройта, сегодня являющий собой груду эффектных развалин, в те времена был попыткой города сравняться с Нью-Йорком. Выложенный огромными плитами мрамора, украшенный коринфскими колоннами и резным антаблементом, он выглядел как своего рода музей неоклассицизма. Над этим святилищем поднималось тринадцатипятиэтажное административное здание. Левти, который все это время высматривал отголоски Греции в Америке, понял, что наступило место, где их не стало. Иными словами, здесь начиналось его будущее. И он сделал шаг ему навстречу. И Дездемона, не имея иного выбора, последовала за ним.

Только вообразите Главный вокзал в те времена! В десятках судовых компаний трезвонят телефоны, и этот звук еще непривычен для уха, грузы рассылаются на восток и на запад, пассажиры прибывают и отбывают, пьют кофе в «Пальмовом дворике» или усаживаются к чистильщикам обуви – наводят блеск на туфли банковских служащих, ботинки снабженцев, высокие сапоги контрабандистов. Главный вокзал с его сводчатыми изразцовыми потолками, канделябрами и полами из уэльского камня. Здесь располагались парикмахерская на шесть кресел, где в горячих полотенцах сидели мумифицированные руководители, и ванные комнаты напрокат, и где грузоподъемники освещались полупрозрачными мраморными светильниками яйцевидной формы.

Оставив Дездемону за колонной, Левти начал протискиваться сквозь толпу в поисках кухни, которая должна их встречать. Сурмелина Зизмо, в девичестве Паппасдиамандопулис, была двоюродной сестрой моих деда и бабки и, следовательно, приходилась мне двоюродной бабушкой. Я помню ее уже экстравагантной старухой. Сурмелина – с волосами сомнительного

цвета. Сурмелина – в ванне, наполненной водой цвета индиго. Сурмелина – активистка теософского общества. Она носила длинные атласные перчатки до локтя и воспитывала целый выводок вонючих такс с заплаканными глазами. Ее дом был наводнен низенькими скамеечками, с помощью которых эти коротконогие твари забирались на диваны и в кресла. Но в 1922 году Сурмелине было всего двадцать восемь лет. Узнать ее в этой вокзальной толпе оказалось так же трудно, как идентифицировать гостей на свадебных фотографиях моих родителей, где все лица скрываются под маской юности. Но перед Левти стояла другая проблема. Он идет через зал, пытаясь отыскать остроносую девчонку, с улыбкой комедийной маски – с нею он вырос. Через застекленную крышу льется солнечный свет. Он щурится, рассматривая проходящих женщин, пока Сурмелина сама не окликает его:

– Сюда, братишка! Ты что, не узнал меня? Это я, неотразимая.

– Лина, это ты?

– Ну я же не из деревни.

За пять лет, прошедших после ее отъезда из Турции, Сурмелина умудрилась вытравить в себе все греческое: начиная с волос, которые теперь были выкрашены в насыщенный каштановый цвет, подстрижены и завиты, и кончая акцентом, смутно напоминавшим европейский, а также читательскими интересами («Кольер» и «Харпер») и гастрономическими пристрастиями (омар «термидор» и ореховое масло). На ней было короткое зеленое модное платье с бахромой по подолу, атласные зеленые туфельки с изящным ремешком, расшитые блестками, и боа из черных перьев. На голове – шляпка-колпак с подвесками из оникса, спадавшими на ее выщипанные брови.

Она позволила Левти несколько секунд наслаждаться своей американской лощеностью, хотя внутри, под шляпкой, она оставалась все той же Линой, и вскоре ее греческая восторженность вырвалась наружу.

– Ну поцелуй же меня! – воскликнула она, раскрывая ему свои объятия.

Они обнялись, и Лина прижалась к его шее своей нарумяненной щекой. Потом отстранилась, чтобы как следует рассмотреть его, и, схватив за нос, рассмеялась.

– Ты все такой же. Я где угодно узнаю этот нос. – Отсмеявшись вволю, она перешла к следующему вопросу: – Ну и где она, эта твоя новобрачная? Ты даже ее имени не сообщил в своей телеграмме. Она что, прячется?

– Она... в дамской комнате.

– Должно быть, красавица. Как-то ты слишком быстро женился. Ты хоть успел представиться или сразу сделал предложение?

– Кажется, сразу сделал предложение.

– Ну и какая она?

– Она... похожа на тебя.

– Неужели такая же красавица? – Сурмелина поднесла к губам мундштук и затаилась, оглядывая проходящих.

– Бедная Дездемона. Брат влюбляется и бросает ее в Нью-Йорке. Как она?

– Замечательно.

– Почему она не приехала с тобой? Надеюсь, она не ревнует тебя к твоей жене?

– Совершенно не ревнует.

Сурмелина схватила его за руку.

– Мы здесь читали о пожаре. Ужасно! Я так беспокоилась, пока ты не прислал письмо. Во всем виноваты турки. Я знаю. Но муж мой, естественно, со мной не согласен.

– Правда?

– Поскольку вы будете жить у нас, позволь мне дать тебе один совет. Не обсуждай с ним политику.

– Ладно.

- А как наша деревня?
- Все ушли, Лина. Теперь там ничего не осталось.
- Может, я бы и всплакнула, если бы не испытывала к этому месту такой ненависти.
- Лина, мне надо тебе кое-что объяснить.

Но Сурмелина уже отвернулась, нетерпеливо постукивая туфелькой.

- Может, она провалилась?
- Мне надо тебе кое-что сказать о Дездемоне и обо мне...
- Да?
- Моя жена... Дездемона...
- То есть я не ошиблась? Они не поладили между собой?
- Нет... Дездемона... моя жена...
- Да?

– Моя жена и Дездемона – это одно и то же лицо. – Это был условный знак, и Дездемона вышла из-за колонны.

– Привет, Лина, – сказала моя бабка. – Мы поженились. Только никому не рассказывай.

Вот так это и выплыло наружу. Так это было произнесено моей бабкой под гулкой кровлей Главного вокзала. Признание секунду-другую потрепетало в воздухе и растворилось в сигаретном дыму. Дездемона взяла за руку своего мужа.

У моих предков были основания надеяться на то, что Сурмелина все сохранит в тайне. Она приехала в Америку со своей собственной тайной, которая хранилась нашим семейством до самой ее смерти в 1979 году, после чего, как любая тайна, она выплыла наружу, и люди стали поговаривать о Лениных «подружках». То есть это стало очень относительной тайной и поэтому сейчас, когда я сам собираюсь кое-что сказать о ней, я испытываю лишь легкий укол совести.

Тайна Сурмелины была прекрасно сформулирована тетушкой Зоей: «Лина относилась к тому разряду женщин, в честь которых назван один остров».

Еще девочкой Сурмелину застали с ее подругами в довольно щепетильной ситуации. «Их было не так много, – рассказывала она мне много лет спустя, – две или три. Почему-то считается, что если тебе нравятся женщины, то ты испытываешь любовь ко всем без разбора. Я всегда была очень требовательной. И очень немногие отвечали моим требованиям». Некоторое время она пыталась бороться со своей предрасположенностью. «Я постоянно ходила в церковь. Но это не помогло. В то время это было самым удобным местом для встреч с подругами. В церкви мы молились о том, чтобы измениться». Когда Сурмелину застали не с девочкой, а со зрелой женщиной, матерью двоих детей, разразился настоящий скандал. Ее попытались выдать замуж, но претендентов не нашлось. Потенциальные мужья в Вифинии и так были наперечет, не говоря уже о том, что никто не хотел брать в жены дефективную невесту.

И тогда отец Сурмелины сделал то, что делали отцы всех девиц на выданье, – он написал письмо в Америку. Соединенные Штаты изобиловали долларовыми купюрами, игроками в бейсбол, енотовыми шубами, бриллиантовыми украшениями и одинокими холостяками – иммигрантами. А присовокупив к этому фотографию привлекательной невесты и сообщив о не менее привлекательной сумме приданого, он довольно быстро нашел претендента на руку дочери.

Джимми Зизмо (полностью Зизимопулос) приехал в Америку в 1907 году в тридцатилетнем возрасте. О нем было известно мало, за исключением того, что он был крутым торгашом. В целой серии писем отцу Сурмелины Зизмо не только жестко оговорил сумму приданого в стиле профессионального барристера, но и потребовал банковский чек еще до дня бракосочетания. На фотографии, посланной Сурмелине, был изображен высокий красивый мужчина с густыми усами и пистолетом в одной руке и бутылкой спиртного в другой. Однако двумя месяцами позднее, когда она вышла из поезда на Главном вокзале, ее встречал гладко выбритый коро-

тышка с угрюмым и усталым выражением лица труженика. Любая нормальная невеста была бы разочарована при виде такого несоответствия, но Сурмелине было абсолютно все равно.

Сурмелина часто писала о своей новой жизни в Америке, рассказывая в основном про моду и свой радиоприемник, который часами слушала через наушники, она настраивала его на нужную станцию и то и дело счищала угольный налет с кристалла детектора. Но Лина никогда не писала о том, что Дездемона называла «постелью», так что кузинам приходилось читать между строк, порой пытаясь угадать по описанию воскресной поездки на Белл-Айл, что выражало лицо ее мужа: счастье или недовольство, или означает ли новая прическа Сурмелины – «я у мамы дурочка», – что Зизмо теперь может ерошить ей волосы.

И теперь та самая Сурмелина, полная собственных тайн, становилась их поверенной.

– Поженились? То есть вы хотите сказать, что спите друг с другом?

– Да, – выдавил из себя Левти.

Сурмелина только сейчас заметила выросший столбик пепла и стряхнула его.

– Вот ведь какая неудача! Стоило уехать, как тут и началось самое интересное.

Но Дездемона совершенно не была расположена к шуткам и с мольбой схватила Сурмелину за руки:

– Обещай мне, что никому не скажешь. Об этом никто не должен знать.

– Я никому не скажу.

– А как насчет твоего мужа?

– Он думает, что я встречаю своего кузена и его жену.

– Ты ему ничего не скажешь?

– Это не так уж сложно, – рассмеялась Сурмелина, – он все равно меня не слушает.

Сурмелина настояла на том, чтобы нанять носильщика, и тот донес их чемоданы до черного «паккарда». Она сама дала ему чаевые и, привлекая всеобщее внимание, села за руль. В 1922 году вид женщины за рулем все еще шокировал окружающих. Положив мундштук на приборную доску, она прокачала педаль газа, выждала необходимые пять секунд и нажала кнопку зажигания. Железный капот машины ожил и завибрировал. Кожаные сиденья затряслись, и Дездемона схватила за руку своего мужа. Сурмелина сняла свои атласные туфельки на высоких каблукках и осталась в чулках. Машина тронулась с места, и Сурмелина, пренебрегая всеми правилами, свернула по Мичиган-авеню к площади Кадиллака. Мои дед и бабка во все глаза смотрели на оживленные улицы, грохочущие трамваи, гудящие машины и прочий одноцветный транспорт, проносившийся мимо. В те годы центр Детройта кишмя кишел покупателями и бизнесменами. Перед универмагом «Гудзон» собралась огромная толпа – люди, расталкивая друг друга, пытались пройти через новомодные вращающиеся двери. Лина только успевала указывать пальцем на вывески: «Кафе „Фронтенак“», «Семейный театр», «Ральстон», «Мягкие сигары Вейта и Бонда Блэкстоун по 10 центов за штуку». Наверху девятиметровый мальчик намазывал на трехметровый кусок хлеба «Золотое луговое масло». Одно из зданий было увешано рядом гигантских масляных ламп, подсвечивавших сообщение о продлении распродажи до тридцать первого октября. Повсюду царили шум и суета. Дездемона, откинувшись на спинку сиденья, уже предчувствовала, сколько страданий ей будут доставлять современные удобства – не только машины, но и тостеры, поливалки и эскалаторы; Левти лишь улыбался и покачивал головой. Повсюду возвышались небоскребы, кинотеатры и гостиницы. В двадцатых годах были возведены почти все знаменитые здания Детройта: здание Пенобскот и второе здание Буля, окрашенное в цвета индейского пояса, здание Нового трастового фонда и башня Кадиллака. Моим деду и бабке Детройт казался одним большим Коза-Ханом в сезон продажи коконов. Вот чего они не видели, так это спящих на улицах бездомных рабочих и тридцати-квартального гетто на востоке, кишящего афро-американцами, которым было запрещено жить в других местах. Короче, им были не видны семена разрушения этого города, поскольку они

сами являлись частью тех, кто хлынул сюда, привлеченный обещаниями Генри Форда платить по пять долларов в день наличными.

Ист-Сайд Детройта представлял собой тихий район, застроенный коттеджами на одну семью, скрывавшимися под кронами вязов. Лина подвезла их к скромному двухэтажному зданию, сложенному из кирпича мускатного цвета, который показался моим предкам настоящим дворцом. Они, оцепенев, смотрели на него из машины, пока входная дверь не распахнулась и на улицу не вышел человек.

Джимми Зизмо был настолько многогранной личностью, что я даже не знаю, с чего начать. Ботаник-любитель, антисуфражист, охотник на крупную дичь, отлученный от церкви, наркоделец и убежденный трезвенник – можете выбирать, что вам больше по вкусу. Ему было сорок пять, почти вдвое больше, чем его жене. Он стоял на сером крыльце в дешевом костюме и поношенной рубашке с острым воротничком. Курчавые черные волосы придавали ему диковатый вид холостяка, которым он и оставался долгое время, и это впечатление усиливалось помятым, как неприбранная постель, лицом. Но брови его были обольстительно изогнуты, как у профессиональных танцовщиц, а ресницы казались такими густыми, словно их подкрасили тушью. Однако моя бабка не обратила на все это никакого внимания. Ее интересовало другое.

– Он араб? – осведомилась Дездемона, как только оказалась наедине со своей кухней на кухне. – Так поэтому ты ничего не рассказывала о нем в письмах?

– Нет, не араб. Он с Черного моря.

– Это зала, – меж тем пояснял Зизмо, показывая Левти дом.

– С Понта! – в ужасе выдохнула Дездемона, изучая холодильник. – А он не мусульманин?

– Там не всех обратили в ислам, – усмехнулась Лина. – Ты что, думаешь, стоит греку окунуться в Черное море, и он тут же превращается в мусульманина?

– Но в нем есть какая-то турецкая кровь? – понизила голос Дездемона. – Потому он такой темный?

– Не знаю, и меня это совершенно не волнует.

– Вы можете жить здесь сколько захотите, – говорил Зизмо, поднимаясь с Левти на второй этаж, – но есть несколько правил. Во-первых, я вегетарианец. Если твоя жена захочет приготовить мясо, пусть пользуется отдельной посудой. Кроме того, никакого виски. Ты пьешь?

– Бывает.

– Никакого алкоголя. Захочешь выпить, ступай в кабак. Мне не нужны неприятности с полицией. Теперь что касается арендной платы. Вы ведь только что поженились?

– Да.

– И какое ты получил за ней приданое?

– Приданое?

– Да. Сколько?

– Но ты хоть знала, что он такой старый? – шепотом спрашивала Дездемона внизу, осматривая печь.

– По крайней мере, он не приходится мне родным братом.

– Тихо ты!

– Я не получал никакого приданого, – ответил Левти. – Мы познакомились на пароходе.

– Бесприданница? – Зизмо замер и изумленно уставился на Левти. – Зачем же ты на ней женился?

– Мы полюбили друг друга, – ответил Левти. Он никогда еще не произносил этих слов перед посторонним человеком, и его одновременно охватило ощущение счастья и страха.

– Никогда не надо жениться, если тебе за это не платят. Именно поэтому я так долго ждал, когда мне предложат достойную цену. – Он подмигнул Левти.

– Лина говорила, что у вас теперь есть свой бизнес, – с внезапным интересом заметил Левти, следуя за Зизмо в ванную комнату. – И что это за бизнес?

– У меня? Я занимаюсь импортом.

– Ни малейшего представления, – отвечала Сурмелина на кухне. – Занимается импортом. Единственное, что я знаю: он приносит домой деньги.

– Но как можно было выйти замуж за человека, о котором ты ничего не знаешь?

– Я готова была выйти замуж за калеку, Дез, только чтобы вырваться на волю.

– У меня в этом есть некоторый опыт, – говорил Левти, осматривая водопроводную систему. – Я занимался этим в Бурсе. Шелководство.

– Ваша доля арендной платы будет составлять двадцать долларов, – не обратив внимания на намеки, сообщил Зизмо и, вытащив затычку, выпустил из ванны воду.

– Насколько мне известно, чем старше муж, тем лучше, – продолжала Лина внизу, открывая кладовку. – Молодой муж не оставлял бы меня в покое. Это было бы очень тяжело.

– Как тебе не стыдно, Лина!

Но Дездемона уже не могла сдержать смех. Она была очень рада тому, что снова видит свою кухню, которая напоминала ей о родине. А темная кладовка, забитая фигами, миндалем, грецкими орехами, халвой и сушеными абрикосами, еще больше подняла ей настроение.

– Но где же взять деньги? – наконец вырвалось у Левти, когда они спускались вниз. – У меня ничего не осталось. Куда мне устроиться работать?

– Это не проблема, – махнул рукой Зизмо. – Я поговорю с людьми. – Они снова пересекли залу. Зизмо остановился и с важным видом посмотрел вниз. – Ты еще не похвалил мой ковер из шкуры зебры.

– Очень красивый.

– Я его привез из Африки. Сам подстрелил.

– Вы были в Африке?

– Где я только не был!

Как и положено супругам, они поселились в одной комнате, которая располагалась прямо над спальней Зизмо и Лины, и первые несколько ночей моя бабушка вылезала из кровати и принакала ухом к полу.

– Ничего. Я же говорила тебе.

– Иди обратно, – подшучивал над ней Левти. – Это их личное дело.

– Какое дело? Я же тебе говорила – нет у них никаких дел.

Меж тем внизу Зизмо высказывал свои соображения о новых постояльцах:

– Какая романтика! Знакомится с девицей на пароходе и тут же женится на ней. Без приданого.

– Некоторые женятся по любви.

– Брак существует для ведения домашнего хозяйства и для рождения детей. И кстати...

– Пожалуйста, Джимми, только не сегодня.

– А когда? Мы уже пять лет женаты, а детей так и нет. То ты плохо себя чувствуешь, то ты устала, то одно, то другое. Ты принимаешь касторовое масло?

– Да.

– А магнезию?

– Да.

– Очень хорошо. Надо уменьшать количество желчи. Если у матери слишком много желчи, ребенок будет расти хилым и не будет слушаться родителей.

– Спокойной ночи, милый.

– Спокойной ночи, милая.

Не прошло и недели, как все загадки Линового замужества разрешились сами собой. Соответственно своему возрасту Джимми Зизмо обращался с женой как с дочерью. Он постоянно указывал ей, что она может делать, а что нет, критиковал цены и глубину вырезов ее наря-

дов, напоминал ей, когда ложиться, когда вставать, когда говорить и когда молчать. Он не давал ей ключи от машины, пока она не умащивала его поцелуями и ласками. Как знахарь-диетолог, он с медицинской дотошностью следил за ее месячными, а один из самых крупных скандалов разразился после того, как он попытался допросить Лину о качестве ее стула. Что касается сексуальных отношений, то они возникали у них чрезвычайно редко. Уже пять месяцев Лина жаловалась на вымышленные недомогания, предпочитая травяные лекарства своего мужа его любовным ласкам. Зизмо, в свою очередь, был сторонником каких-то смутных представлений йогов о пользе удерживания семени, а потому смиренно ждал выздоровления жены. В доме царил разделение по половому признаку, как в патриархальные, стародавние времена: мужчины – в зале, женщины – на кухне. Это были две независимые сферы жизни, каждая со своими заботами и обязанностями и, как сказали бы биологи-эволюционисты, каждая со своим мышлением. Левти и Дездемоне, привыкшим жить в собственном доме, приходилось привыкать к укладу жизни своих новых хозяев. И кроме того, моему деду нужна была работа.

В те дни множеству автомобильных компаний требовались рабочие. К примеру: «Чалмерс», «Метцгер», «Браш», «Колумбия» и «Фландрия». А также «Хапп», «Пейдж», «Гудзон», «Крит», «Саксония», «Либерти», «Риккенбаккер» и «Додж». Однако у Джимми Зизмо были связи в «Форде».

– Я снабженец, – объяснил он.

– А что ты поставляешь?

– Разное топливо.

Они снова сидели в «паккарде», трясущемся на своих узких шинах. Сгущался легкий туман, и Левти, сощурившись, глядел сквозь запотевшее стекло. Когда они подъезжали к Мичиган-авеню, он все яснее различал здание, похожее на огромный церковный орган, с трубами, уходившими высоко в небо.

Тогда же появился запах – тот самый запах, что поднимался вверх по течению реки и спустя много лет преследовал меня повсюду. Нос моего деда, с такой же горбинкой, как у меня, учуял его. Ноздри его затрепетали, и он вдохнул полной грудью. Сначала запах показался ему знакомым – вроде зловония от тухлых яиц и навоза. Но через несколько секунд к этой вони добавились химические запахи, и дед закрыл нос платком.

– Не волнуйся, – рассмеялся Зизмо. – Привыкнешь.

– Никогда.

– Ты знаешь, в чем заключается секрет?

– В чем?

– В том, чтобы не дышать.

Когда они подъехали к заводу, Зизмо повел Левти в отдел по подбору кадров.

– Сколько времени он живет в Детройте? – осведомился менеджер.

– Полгода.

– Вы можете подтвердить это?

– Я могу забросить к вам домой необходимые документы, – понизив голос, ответил Зизмо.

– «Старую хижину»? – оглянувшись по сторонам, спросил менеджер.

– Лучшего качества.

Менеджер выпятил нижнюю губу и принялся рассматривать моего деда.

– А хорошо ли он говорит по-английски?

– Не настолько хорошо, как я, но он быстро учится.

– Ему придется пройти курс подготовки и сдать экзамен. В противном случае он будет уволен.

– Годится. А теперь напишите свой домашний адрес, и мы договоримся о доставке. Где-нибудь в половине девятого вечера в понедельник вас устроит?

– Приходите с черного хода.

Недолгая работа моего деда в автомобильной компании Форда стала единственным эпизодом в истории семейства Стефанидисов, когда кто-либо из них трудился на поприще машиностроения. Мы предпочитали делать не машины, а лепешки и греческие салаты, спаникопиту и долму, рисовые пудинги и пахлаву. Нашим сборочным конвейером был гриль, а станком – сатуратор. И все же эти полгода установили нашу причастность к грозному и величественному гиганту, который был виден со скоростного шоссе, подходящего вплотную к этому Везувию с его трубопроводами, лестницами, помостами, огнем и дымом, – все это можно было определить, как чуму или титул монарха, только одним цветом – пурпур.

В свой первый рабочий день Левти зашел на кухню продемонстрировать новый комбинезон. Он раскинул руки, облаченные в рукава фланелевой рубашки, щелкнул пальцами и принялся приплясывать. Дездемона рассмеялась и прикрыла дверь, чтобы не разбудить Лину. Левти съел свой завтрак: йогурт и сливы, и просмотрел греческую газету трехдневной давности. А Дездемона завернула ему фету, оливки и хлеб в новый американский пакет из коричневой бумаги. Когда у черного входа он обернулся, чтобы поцеловать ее, она отпрянула, опасаясь, что их могут увидеть, и тут же вспомнила, что они теперь муж и жена. Теперь они жили в штате Мичиган, где все птицы были одного цвета и, откуда они, никто не знал. И Дездемона сделала шаг навстречу губам своего мужа. Это был их первый поцелуй на великих американских просторах, на заднем дворе под опадающей вишней. Чувство невыразимого счастья вспыхнуло внутри у нее, разбрызгивая вокруг свои искры.

Прекрасное настроение не покидало деда до самой трамвайной остановки, на которой, куря и перебрасываясь шутками, уже стояли другие рабочие. Левти заметил, что они держали в руках металлические судки с ланчем, и он смущенно спрятал свой пакет за спину. Трамвай оповестил о своем приближении гулкой тряской по мостовой, после чего появился в лучах восходящего солнца как электрифицированная колесница Аполлона. Внутри трамвая люди, говорящие на одном языке, собирались в группы. Хотя перед работой лица у них у всех были чистые, в ушах порой виднелась сажа. Трамвай покотился дальше, и вскоре всеобщая веселость уступила место гробовому молчанию. Вблизи даунтауна на подножку трамвая вскочили несколько черных – они держались особняком.

А затем впереди, на фоне неба, возник его величество Пурпур в клубах исторгаемого им дыма. Сначала появились только верхушки восьми главных труб, каждая из которых выбрасывала по темному облаку. Облака, поднимаясь вверх, соединялись и создавали завесу над городом; тень от нее падала на трамвайные рельсы, и Левти понял, что общее молчание было знаком признания ее неизбежного каждодневного появления. Приближаясь к завесе, люди отворачивались, и один лишь Левти наблюдал, как убывает дневной свет и мрак окутывает трамвай. Лица у всех стали серыми, а один из мавров на подножке сплюнул на мостовую кровавый сгусток.

Вскоре в трамвай начал просачиваться запах: сначала вполне терпимая вонь тухлых яиц и навоза, а потом к ней стал примешиваться невыносимый химический душок. Левти оглядел рабочих, чтобы проверить, как они на это реагируют, но никто даже не шелохнулся. Потом двери распахнулись, и люди вывалились наружу. Трамваи все прибывали и прибывали, выплевывая десятки сотен серых фигур, устремлявшихся через мощный двор к заводским воротам. Мимо проезжали грузовики, и Левти позволил увлечь себя огромной семи-десяти тысячной толпой, спешившей сделать последние затяжки и перебраться последними словами, так как за воротами завода все разговоры были запрещены. Главное здание представляло собой семиэтажную крепость из темного кирпича с семнадцатью трубами. Его венчали водонапорные башни, соединенные настилами, которые вели к наблюдательным мостикам и нефтепере-

гонным устройствам, снабженным менее внушительными трубами. Все это производило впечатление подрастающей роицы, словно главные восемь труб рассеивали вокруг семени, из которых на бесплодной почве завода теперь поднималось еще дюжин пять маленьких стволов. Затем Левти увидел железнодорожные рельсы, бункеры вдоль берега и огромные емкости для хранения угля, кокса и железной руды. Над головой, как лапы огромных пауков, разбегалась целая сеть помостов. И перед тем как войти внутрь, он еще успел заметить грузовое судно и кусочек Руж-Ривер, названной так французскими исследователями из-за красноватого цвета воды. Но это было прежде, чем промышленные отходы окрасили ее в оранжевый цвет.

Люди лишились человечности в 1913 году, и это исторический факт. Именно в этом году Генри Форд начал массовый выпуск автомобилей и заставил рабочих трудиться со скоростью конвейера. Сначала они взбунтовались и валом повалили с производства, не в силах приспособиться к новым темпам. Однако к настоящему времени адаптацию можно считать состоявшейся, и все мы в какой-то степени ее унаследовали, так что теперь успешно пользуемся джойстиком и пультами дистанционного управления и совершаем массу других монотонных действий.

Однако в 1922 году люди еще не привыкли быть автоматами.

Моего деда обучили его обязанностям за семнадцать минут. Гениальность нового производственного метода заключалась в разделении каждого этапа на ряд операций, не требовавших профессиональных навыков, поэтому принимать на работу и увольнять с работы можно было любого. Бригадир показал Левти, как надо снимать с конвейера подшипник, обрабатывать его на токарном станке и класть обратно, после чего замерил секундомером успехи нового работника. Затем кивнул и отвел Левти к его рабочему месту у конвейера. Слева от него стоял человек по фамилии Вирджицкий, справа по фамилии О'Молли. На мгновение все трое замерли, и тут прозвучал свисток.

Каждые четырнадцать секунд Вирджицкий должен был просверлить подшипник, Стефанидис обточить его, а О'Молли насадить его на распределительный вал. После чего вал, оказавшись на конвейере, сквозь клубы металлической пыли и кислотных испарений проходил путь в пятьдесят ярдов и попадал к следующему рабочему, а тот вставлял его в двигатель (двадцать секунд). Одновременно рабочие брали детали с соседних конвейеров – карбюраторы, распредвалы и всасывающие коллекторы – и подсоединяли их к двигателю. А над их согбенными спинами потрясали своими кулаками огромные паровые молоты. Не было слышно ни единого слова. Вирджицкий сверлил подшипник, Стефанидис обтачивал его, О'Молли насаживал. Распределительный вал уплывал, кружа по цеху, пока его не подхватывали другие руки и не прикрепляли к двигателю, приобретавшему все более эксцентричный вид благодаря обилию трубок и плюмажу лопастей. Вирджицкий сверлит, Стефанидис обтачивает, О'Молли насаживает. В то время как другие вставляют воздушный фильтр (семнадцать секунд), приделывают стартер (двадцать шесть секунд) и устанавливают маховик. После чего блок двигателя готов, и последний рабочий провожает его дальше...

Хотя на самом деле не последний. Внизу двигатель встречают другие рабочие, они вставляют его в наплывающие рамы. Они подсоединяют его к системе передач (двадцать пять секунд). А Вирджицкий продолжает сверлить, Стефанидис обтачивать, а О'Молли насаживать. Дед не видит ничего, кроме подшипника: руки берут его, обтачивают и кладут на место как раз в тот момент, когда появляется следующий. А приплывают они оттуда, где их штампуют, и болванки обжигают в печах, а до этого – из литейного цеха, где работают негры с выпученными глазами – от адского света и пламени. Они засыпают железную руду в плавильную печь и ковшами разливают расплавленную сталь по литейным формам. Лить надо с определенной скоростью: чуть быстрее – и формы расколются, чуть медленнее – и сталь застынет. Они даже не могут остановиться, чтобы стряхнуть с рук искры горящего металла. А бригадир не всегда успевает это сделать.

Литейный цех находится в самой глубине, но конвейер тянется дальше. Он ползет наружу, к горам угля и кокса и дальше к реке, где суда разгружают руду, и там превращается в саму реку, уходящую в северные леса, пока она не достигает своего истока, то есть самой земли, песчаника и известняка, таящегося в ее недрах, и оттуда конвейер снова поворачивает назад – к реке, грузовым судам и, наконец, к кранам, экскаваторам и плавильным печам, где расплавленная сталь разливается по формам, где она охлаждается и застывает, превращаясь в детали машин: двигатели, коробки передач и топливные баки «модели Т» 1922 года выпуска. Вирджицкий сверлит, Стефанидис обтачивает, О’Молли насаживает. Выше и ниже их с разных сторон другие рабочие засыпают в формовочные стержни песок и вбивают в них затычки или устанавливают опоки в вагранку. Многочисленные конвейеры пересекаются и разветвляются. Одни штампуют детали (пятьдесят секунд), другие куют их (сорок две секунды), третьи сваривают их вместе (одна минута десять секунд). Вирджицкий сверлит, Стефанидис обтачивает, О’Молли насаживает. И распределительный вал уплывает, кружа по цеху, пока его не подхватывают другие руки и не прикрепляют к двигателю, обретающему все более законченный вид. И вот он наконец готов. Рабочий отправляет его вниз, к накатывающей навстречу раме, в то время как еще трое достают из печи корпус, обожженный до такого блеска, что они видят в нем собственное отражение и тут же узнают себя, прежде чем опустить его на подъезжающую к ним раму. За руль вскакивает человек (три секунды), включает зажигание (две секунды), и готовая машина съезжает с конвейера.

Молчание днем и болтовня вечером. Каждый вечер мой измочаленный дед выходит с завода и идет в соседнее здание, где располагается школа английского языка Форда. Он садится за парту и раскрывает учебник. Парта вибрирует, словно класс движется на конвейере со скоростью 1,2 мили в час. Дед смотрит на английский алфавит, написанный на стенах. Вокруг него рядами сидят люди с такими же учебниками. Их волосы слиплись от засохшего пота, глаза покраснели от металлической пыли, руки ободраны. С покорностью послушников они хором читают:

Рабочие должны пользоваться дома водой и мылом.

Ничто так не способствует успеху, как чистота.

Не плюйте дома на пол.

Уничтожайте дома мух.

Чем вы чище, тем больше возможностей открывается перед вами.

Иногда занятия английским продолжались и на работе. Однажды после лекции бригадира о повышении производительности труда Левти развил такую скорость, что начал обтачивать подшипник не за четырнадцать секунд, а за двенадцать. Однако, вернувшись из сортира, он обнаружил, что на его токарном станке написано «штрейкбрехер», а ремень привода обрзан. Пока он искал новый привод, прозвучал рожок, и конвейер остановился.

– В чем дело? – заорал на него бригадир. – Каждый раз, останавливая конвейер, мы теряем деньги. Если это повторится еще раз, ты будешь уволен. Понятно?

– Да, сэр.

– Запускайте!

И лента конвейера снова начинает двигаться. Когда бригадир уходит, О’Молли оглядывается по сторонам и шепчет:

– Не старайся всех обогнать. Понял? Иначе нам всем придется работать быстрее.

Дездемона оставалась дома и занималась приготовлением пищи. Ей теперь не нужно было ухаживать за шелкопрядами и подстригать тутовые деревья, доить коз и сплетничать с соседями, и моя бабка полностью посвятила себя кухне. Пока Левти обтачивал подшипники, Дездемона готовила пастиччио, мусаку и галактобуреку. Она засыпала кухонный стол мукой и

выскобленной палкой от швабры раскатывала тесто в листы не толще бумаги – они выходили у нее один за другим, как на конвейере, заполняя кухню. Потом Дездемона переносила их в гостиную и раскладывала на мебели, покрытой простынями. Она расхаживала взад-вперед, добавляя грецкие орехи, масло, мед, шпинат и сыр, потом закрывала все это другим листом теста, смазывала маслом и отправляла в печь. На заводе рабочие валились с ног от жары и усталости, а моя бабушка умудрялась трудиться в две смены. Утром она вставала, чтобы приготовить завтрак и собрать ланч мужу, затем мариновала в вине ногу барашка. Днем она готовила домашние колбасы с фенхелем, которые затем развешивала коптиться над обогревательными трубами в подвале. В три часа она начинала готовить обед и только после этого позволяла себе передышку. Она садилась за кухонный стол и раскрывала свой сонник, чтобы определить значение сна, приснившегося накануне. Не было случая, чтобы на плите попыхивало меньше трех кастрюль. Время от времени Джимми Зизмо приводил домой своих коллег по бизнесу – неуклюжих мужчин с ветчинными лицами в широкополых шляпах. И Дездемона всегда была готова накормить их. Потом они уходили, и она мыла за ними посуду.

Единственное, с чем она не могла смириться, так это с походами по магазинам. Американские магазины пугали ее, а продукты повергали в уныние. Даже много лет спустя, увидев у нас на кухне «Макинтош Крогера», она поднимала его и говорила: «Ну и что? Мы этим коз кормили». Любой местный рынок вызывал в ней воспоминания об аромате персиков, инжира и грецких орехов в Бурсе. Не прожив и нескольких месяцев в Америке, Дездемона уже страдала от неизлечимой ностальгии. Так что после рабочего дня на заводе и занятий английским Левти еще приходилось закупать баранину, овощи, специи и мед.

Так они и жили... месяц... три... пять. С трудом они вынесли свою первую мичиганскую зиму. Январь, начало второго ночи, Дездемона Стефанидис спит в ненавистной шляпе, полученной от активисток Христианского союза женской молодежи, пытаясь спастись от холода, проникающего сквозь тонкие стены. Трубы отопления вздыхают и звенят. Левти, положив тетрадь на колени, при свете свечи заканчивает домашнее задание. Он слышит шорох и, подняв голову, замечает два красных глаза, поблескивающих в дыре между досками. «Крыса», – выводит он, прежде чем запустить карандаш в грызуна. Дездемона продолжает спать. Он гладит ее по голове и говорит «любимая» по-английски. Новая страна и новый язык помогают все больше отстраняться от прошлого. Спящая рядом Дездемона с каждой ночью все меньше воспринимается им как сестра и все больше как жена. День за днем преград становится все меньше, и воспоминания о совершенном преступлении улечиваются. (Но то, что забывают люди, помнят клетки.)

Наступила весна 1923 года. Дед, привыкший к многочисленным спряжениям древнегреческих глаголов, обнаружил, что английский, несмотря на всю его непоследовательность, довольно простой язык. Накопив достаточный словарный запас, он стал обнаруживать знакомые элементы слова – то в корне, то в приставке, то в суффиксе. Для празднования первого выпуска английской школы Форда решили устроить маскарад, на который был приглашен и Левти, как лучший студент.

- Что еще за маскарад? – спросила Дездемона.
- Сейчас не могу сказать. Это сюрприз. Но тебе придется кое-что сшить мне.
- Что именно?
- Ну, что-нибудь национальное.

Дело происходило в среду вечером. Левти и Зизмо сидели в зале, когда к ним неожиданно вошла Лина, чтобы послушать «Час с Ронни Роннетом». Зизмо одарил ее неодобрительным взглядом, но она тут же спаслась наушниками.

– Думает, что она американка, – заметил Зизмо, обращаясь к Левти. – Видишь? Даже кладет ногу на ногу.

- Но это же Америка, – ответил Левти. – Мы теперь все американцы.

– Это не Америка, – возразил Зизмо. – Это мой дом. И мы здесь живем не как американцы. Вот твоя жена это понимает. Ты когда-нибудь видел, чтобы она приходила в залу демонстрировать свои ноги и слушать радио?

В дверь постучали. Зизмо, испытывавший необъяснимую ненависть к непрошеным гостям, вскочил и накрылся пиджаком, сделав знак Левти не двигаться; Лина, заметив это, сняла наушники. Стук повторился.

– Милый, неужто ты считаешь, они бы постучали в дверь, если бы хотели убить тебя? – осведомилась Лина.

– Кто кого хочет убить? – прибежала из кухни Дездемона.

– Да это я так, – откликнулась Лина, которая знала о делах мужа гораздо больше, чем прикидывалась. Она подошла к двери и открыла ее.

На пороге стояли двое. На них были серые костюмы, полосатые галстуки и черные ботинки. У обоих короткие бакенбарды, а в руках одинаковые портфели. Когда они сняли шляпы, у них оказались и волосы одного и того же каштанового цвета, расчесанные на прямой пробор. Зизмо протянул им из-под пиджака руку.

– Мы из департамента социологии «Форда», – заявил тот, что повыше. – Мистер Стефанидис дома?

– Да, – откликнулся Левти.

– Мистер Стефанидис, позвольте мне объяснить цель нашего прихода.

– Руководство предвидело, – без малейшей запинки продолжил второй, – что ежедневная зарплата в пять долларов может оказаться в руках некоторых людей огромным препятствием на пути праведности и может сделать их угрозой для общества в целом.

– Поэтому мистер Форд решил, – подхватил первый, – что эти деньги будут выплачиваться лишь тем, кто умеет разумно распорядиться ими.

– Кроме этого, их будут лишены те, – продолжил коротышка, – кто не выполняет план. Тогда компания оставляет за собой право лишить его доли доходов, пока он не оправдает себя в ее глазах. Мы можем пройти?

Переступив порог, они разделились, и высокий достал из портфеля блокнот.

– Если вы не возражаете, я задам вам несколько вопросов. Вы пьете, мистер Стефанидис?

– Нет, – ответил за Левти Зизмо.

– А вы кто такой?

– Моя фамилия Зизмо.

– Вы здесь живете?

– Это мой дом.

– Значит, мистер и миссис Стефанидис ваши постояльцы?

– Совершенно верно.

– Не годится. Не годится. Мы поощряем приобретение жилья по закладным.

– Он собирается это сделать, – ответил Зизмо.

Меж тем коротышка отправился на кухню и начал поднимать крышки кастрюль, заглядывать в печь и мусорное ведро. Дездемона попыталась воспротивиться этому, но Лина остановила ее взглядом. (А теперь обратите внимание, как затрепетали у Дездемоны ноздри. В последние два дня обоняние у нее определенно обострилось. Пища начала пахнуть как-то странно: фета – грязными носками, а оливки – козьим пометом.)

– Как часто вы моетесь, мистер Стефанидис? – спрашивал меж тем длинный.

– Каждый день, сэр.

– А как часто вы чистите зубы?

– Тоже каждый день.

– Чем вы их чистите?

– Питевой содой.

А коротышка уже взбирался по лестнице. Войдя в спальню моих предков, он начал осматривать белье. Затем прошел в уборную и осмотрел стульчак.

– Отныне пользуйтесь вот этим, – заметил длинный. – Это зубная паста. А вот вам новая зубная щетка.

Дед смущенно взял и то и другое.

– Мы вообще-то приехали из Бурсы, – пояснил он. – Это большой город.

– Чистить надо вдоль десен. Снизу вверх в глубине и сверху вниз спереди. Две минуты утром и вечером. Давайте попробуем.

– Мы – цивилизованные люди.

– Вы что, отказываетесь пользоваться гигиеническими рекомендациями?

– Послушайте, – произнес Зизмо. – Греки построили Парфенон, а египтяне пирамиды еще тогда, когда англосаксы ходили в звериных шкурах.

Длинный пристально посмотрел на Зизмо и что-то отметил в своем блокноте.

– Так? – осведомился мой дед и, жутко оскалась, принялся елозить щеткой в сухом рту.

– Да. Замечательно.

В это время на лестнице появился коротышка. Он тоже открыл свой блокнот и начал:

– Во-первых, мусорное ведро на кухне не имеет крышки. Во-вторых, на кухонном столе мухи. В-третьих, в пище слишком много чеснока, который вызывает несварение желудка.

(Наконец Дездемона понимает, в чем дело. Волосы коротышки, обильно покрытые бриллиантом, вызывают у нее тошноту.)

– Вы проявляете похвальную предусмотрительность, интересуясь здоровьем своего работника, – заметил Зизмо. – Было бы очень неприятно, если бы кто-нибудь заболел. Ведь это привело бы к сокращению производства.

– Я сделаю вид, что не слышал этого, – откликнулся длинный. – Поскольку вы не являетесь официальным работником автомобильной компании Форда. Однако, мистер Стефанидис, – это уже снова поворачиваясь к деду, – мне придется сообщить в своем отчете о ваших социальных связях. И я бы советовал вам с миссис Стефанидис как можно быстрее перебраться в собственный дом.

– А позвольте поинтересоваться, сэр, чем вы занимаетесь? – не удержался коротышка.

– Морскими перевозками, – ответил Зизмо.

– Как это мило, что вы зашли к нам, – вмешалась Лина. – Но, честно говоря, мы как раз собирались ужинать. А вечером хотели пойти в церковь. К тому же Левти в девять ложится спать, чтобы как следует отдохнуть. Он любит вставать со свежей головой.

– Очень хорошо. Очень хорошо. – Они надели шляпы и отбыли.

До выпускного маскарада оставалось несколько недель. За это время Дездемона должна была сшить паликари, украшенное красной, белой и синей тесьмой, а Левти – получить деньги, выдававшиеся из бронированного грузовика. Накануне праздника Левти доехал на трамвае до площади Кадиллака и вошел в магазин одежды «Голд», где его ожидал Джимми Зизмо – он обещал помочь Левти выбрать костюм.

– Скоро уже лето. Как насчет кремового? С желтым шелковым галстуком.

– Нет. Преподаватель английского сказал: или синий, или серый.

– Они хотят превратить тебя в протестанта. Сопrotивляйся!

– Я возьму синий, – говорит Левти с прекрасным произношением.

(Тут выясняется, что продавец тоже чем-то обязан Зизмо. И предоставляет им двадцатипроцентную скидку.)

Тем временем в дом – для благословения – наконец приходит священник греческой православной церкви Успения. Дездемона с тревогой следит за тем, как он выпивает предложенный ей стакан «Метаксы». Когда они с Левти стали прихожанами, священник чисто формально

поинтересовался, обвенчаны ли они. И Дездемона сказала, что да. Ее воспитали в убеждении, что священники могут отличить правду от лжи, но отец Стилианопулос лишь кивнул и вписал их имена в церковный журнал. Он ставит стакан, встает, произносит благословение и окропляет порог святой водой. Но еще до конца церемонии Дездемона снова начинает что-то ощущать, а именно – что святой отец ел на завтрак. Она чувствует запах его пота, когда он поднимает руку для крестного знамения. И когда она его провожает к дверям, ей приходится задержать дыхание.

– Спасибо, отец, спасибо.

Стилианопулос уходит, но толку от этого мало.

Как только Дездемона делает вдох, она чувствует запах удобрений на цветочных клумбах и капусты, которую варит соседка, миссис Чеславски, и она может поклясться, что где-то стоит открытая банка горчицы. Она вдыхает все эти запахи и инстинктивно прижимает руку к животу.

В это самое мгновение открывается дверь спальни. Выходит Сурмелина. У нее пол-лица напудрено и нарумянено; другая половина, без макияжа, выглядит зеленой.

– Ты что-нибудь чувствуешь? – спрашивает Сурмелина.

– Да. Я чувствую все запахи.

– О господи!

– Что такое?

– Я не думала, что это может случиться со мной. С тобой сколько угодно. Но только не со мной.

В тот же день в семь часов вечера в Детройтской гвардейской оружейной палате. Свет меркнет, и двухтысячная аудитория начинает рассаживаться. Крупные деятели бизнесажимают друг другу руки. Джимми Зизмо в новом кремовом костюме с желтым галстуком садится нога на ногу, покачивая кожаной туфлей. Лина и Дездемона, объединенные общей тайной, держатся за руки.

Под восхищенные аханья и рукоплескания раздвигается занавес. На заднике изображен корабль с двумя трубами и частью палубы с ограждением. Оттуда тянутся подмости к другому месту действия – гигантскому серому котлу, на котором выведены слова: «Плавильный тигель английской школы Форда». Начинают звучать национальные мелодии. Внезапно на подмостках появляется одинокая фигура, облаченная в балканский национальный костюм – безрукавка, широкие штаны, высокие кожаные сапоги. Это иммигрант, несущий свои пожитки в узелке на палке, перекинутой через плечо. Он озирается и спускается в плавильный тигель.

– Какая пропаганда, – бормочет Зизмо.

Лина шикает.

Затем в тигель спускается сириец, потом итальянец, поляк, норвежец, палестинец и, наконец, грек.

– Смотрите, это Левти!

Мой дед шагает по подмосткам в расшитом паликари, пукамисо с пышными рукавами и в плиссированной юбочке – фустанелле. На мгновение он останавливается, чтобы окинуть взглядом зрителей, но яркий свет слепит его. Он не видит Дездемону, которую прямо-таки распирает желание поделиться своей тайной. В спину его уже подталкивает немец: «Macht schnell. То есть, извини, иди быстрее».

Генри Форд одобрительно кивает в первом ряду. Миссис Форд пытается сказать ему что-то на ухо, но он от нее отмахивается. Взгляд его голубых глаз скользит по лицам вышедших на сцену преподавателей. В руках у них длинные черпаки, которые они запускают в тигель и начинают там помешивать. Сцену заливают красный мигающий свет, и все окутывается дымом.

Внутри котла люди начинают сбрасывать с себя свою национальную одежду и надевать костюмы. Они путаются, наступают друг другу на ноги. Левти извиняется и, натянув на себя

синие шерстяные брюки и пиджак, начинает ощущать себя настоящим американцем с вычищенными на американский манер зубами и опрысканными американским дезодорантом подмышками. Люди продолжают вращаться, подгоняемые черпаками...

...В кулисах появляются двое: высокий и низенький...

...Лицо моей бабки выражает полное изумление...

...А содержимое тигля наконец закипает. Красный свет становится ярче. Оркестр начинает играть «Янки-дудл». И из котла один за другим начинают появляться выпускники школы. Под громовые аплодисменты они выходят в своих синих и серых костюмах, размахивая американскими флагами.

Едва успевает опуститься занавес, как к Левти подходят представители департамента социологии.

– Я сегодня сдал выпускной экзамен, – говорит им дед. – Набрал девяносто три из ста возможных. И сегодня же я открыл свой банковский счет.

– Это замечательно, – отвечает длинный.

– Но, к несчастью, вы опоздали, – замечает коротышка и достает из кармана листок бумаги хорошо известного в Детройте розового цвета.

– Мы навели справки о вашем хозяине. Об этом так называемом Джимми Зизмо. Он состоит на учете в полиции.

– Мне об этом ничего не известно, – говорит дед. – Я уверен, что это какая-то ошибка. Он хороший человек. И много работает.

– Извините, мистер Стефанидис. Но вы должны понять, что мистеру Форду не нужны рабочие, поддерживающие такие связи. Так что в понедельник можете не приходить на завод.

Пока дед пытается осознать это известие, коротышка добавляет: – Надеюсь, вам это послужит уроком. Общение с дурными людьми может вас погубить. Вы производите приятное впечатление, мистер Стефанидис. Так что желаем вам всего наилучшего.

Через несколько минут Левти уже спускается к жене и страшно изумлен, когда она обнимает его на глазах у всех.

– Тебе понравился спектакль?

– Дело не в этом.

– А в чем?

Дездемона смотрит ему в глаза. Но объяснять все приходится Сурмелине.

– Твоя жена и я... – просто начала она, – мы обе залетели.

Минотавр

Что-что, а это мне не грозит. Как и большинство гермафродитов, я бесплоден. Это одна из причин, почему я так и не женился. Это одна из причин, не считая чувства стыда, почему я решил поступить на дипломатическую службу. Мне никогда не нравилось жить на одном месте. После того как я превратился в мужчину, мы с мамой уехали из Мичигана, и с тех пор я нигде подолгу не останавливался. Через пару лет я уеду из Берлина – меня назначат куда-нибудь еще. Мне будет грустно уезжать отсюда. Этот когда-то разделенный надвое город чем-то похож на меня. На мою борьбу за объединение, за *Einheit*¹⁵. Приехав из города, все еще разделенного надвое расовой ненавистью, здесь, в Берлине, я обрел надежду.

Кстати, о чувстве стыда. Я не потворствую ему и делаю все возможное, чтобы его преодолеть. Движение «Интерсекс» стремится положить конец операциям по изменению пола младенцев. И первое, что необходимо сделать, – это убедить мир, в частности детских эндокринологов, в том, что гениталии гермафродитов не являются больными органами. Из каждых двух тысяч младенцев один рождается двуполым. Это означает, что в Соединенных Штатах, где население составляет двести семьдесят пять миллионов, сегодня проживает сто тридцать семь тысяч интерсексуалов.

Но гермафродиты такие же люди. Я не политик и не очень люблю общественные мероприятия. И хотя состою членом Интерсексуального общества Северной Америки, я никогда не принимал участия в демонстрациях. Я веду частную жизнь и оберегаю собственные раны. Это не лучший образ жизни. Но я таков, каков есть.

Самые известные гермафродиты в истории? Я? Приятно было бы так думать, но мне до этого еще далеко. Я поглощен работой и откровенничаю только с несколькими друзьями. На приемах, когда я оказываюсь рядом с бывшим послом (тоже уроженцем Детройта), мы обсуждаем с ним «Тигров». Очень немногие в Берлине посвящены в мою тайну. Я стал говорить об этом с большей готовностью, чем прежде, но тут я не всегда последователен. Иногда я сообщаю об этом случайным прохожим. А некоторые остаются в неведении навсегда.

Особенно это касается женщин, которые мне нравятся. Как только я встречаю такую и она проявляет ко мне симпатию, я тут же ретируюсь. Иногда по вечерам, приободрившись с помощью доброй «Риохи», я забываю о своих физических проблемах и позволяю себе надеяться. Прочь летит дорогой костюм и рубашка от Томаса Пинка. Неужто мои возлюбленные не будут потрясены особенностями моей физиологии?! (Под моими двубортными «доспехами» таятся другие «доспехи» – из хорошо натренированной мускулатуры.) Но от своего последнего бастиона – удобных боксеров – я не откажусь никогда. Я всегда буду извиняться и уходить. Уходить и больше никогда не звонить. Как и все мужчины.

Но меня хватает ненадолго. И я снова встаю на стартовую черту. Сегодня утром я опять встретил свою велосипедистку. На этот раз мне удалось узнать ее имя: Джулия. Джулия Кикучи. Выросла в Северной Калифорнии, окончила школу дизайнера на Род-Айленд и теперь приехала в Берлин по гранту, полученному от Кюнстлерхаус. Но что гораздо важнее – она придет ко мне на свидание в пятницу вечером.

Это будет просто свидание. За ним ничего не последует. Зачем говорить ей о своих особенностях, о своем многолетнем блуждании в тумане, вдали от чужих глаз. И вдали от любви.

Одновременное оплодотворение произошло ночью 24 марта 1923 года в отдельных расположенных друг над другом спальнях после вечера, проведенного в театре. Дед, еще не догадываясь о своем скором увольнении, раскошелился на четыре билета на «Минотавра», постав-

¹⁵ Единство (нем.).

ленного в Семейном театре. Сначала Дездемона отказалась идти. Она не одобряла театральное искусство в целом, а особенно жанр водевиля, но в итоге, будучи не в силах противостоять греческой тематике, она натянула новые чулки, надела черное платье и пальто и вместе со всеми двинулась по скользкой дорожке к ужасному «паккарду».

Когда в Семейном театре поднялся занавес, мои родственники надеялись, что им расскажут всю историю. Как Минос, царь Крита, не смог принести в жертву Посейдону белого быка. Как разгневанный Посейдон наказал его жену Пасифаю, заставив ее влюбиться в быка. Как плодом этого союза стал Астерий, родившийся с бычьей головой и человеческим телом. А потом как Дедал создал лабиринт и так далее. Однако, как только зажглись софиты, нетрадиционный подход к этому сюжету стал очевиден. На сцене в серебристых лифчиках и просвечивающих сорочках резвились хористки – они танцевали и читали стихи, не попадая в такт жуткому завыванию флейт. Потом появился Минотавр с бычьей головой из папье-маше. Не имея никакого представления о классической психологии, актер изображал в чистом виде киношного монстра. Он рычал, барабаны гроыхали, хористки визжали и разбежались. Минотавр гнался за ними, естественно, ловил их, пожирал или затаскивал их, беззащитных, в лабиринт. И тут занавес опустился.

Моя бабка с восемнадцатого ряда высказывала критические замечания: «Это похоже на картины в музеях, просто повод показать голых людей».

Она же настояла на том, чтобы уйти в антракте. Дома все четверо готовились ко сну. Дездемона выстирала чулки и зажгла ночник в коридоре. Зизмо выпил сок папайи, который он считал полезным для пищеварения. Левти аккуратно повесил свой костюм, сложив брюки по стрелкам, а Сурмелина сняла макияж с помощью кольдкрема и забралась в постель. Все четверо, двигаясь по своим индивидуальным орбитам, делали вид, что пьеса не произвела на них никакого впечатления. И вот Джимми Зизмо выключил свет, забрался в свою одноместную кровать и обнаружил, что она уже занята! Сурмелина, которой снились хористки, перебралась в нее в состоянии лунатизма и, бормоча стихотворные строки, залезла на своего мужа, находящегося в состоянии готовности. («Видишь? – в темноте произнес Зизмо. – Никакой желчи. Это все касторовое масло».) Может, Дездемона что-нибудь бы и услышала сверху, но она делала вид, что спит. Вопреки ее желанию, спектакль растормошил и ее. Из головы не шли мускулистые грубые бедра Минотавра и непристойные позы его жертв. Стыдясь собственного возбуждения, она старалась ничем не проявить его. Она выключила лампу и пожелала мужу спокойной ночи, потом театрально зевнула и повернулась к нему спиной. Но Левти подкрался сзади.

Теперь стоп-кадр. Я хочу уточнить позы: Лина лежит на животе, Левти на боку, а также обстоятельства – ночная амнезия, и непосредственную причину – спектакль о чудовищном гибриде. Считается, что дети наследуют у своих родителей только физические черты, но я уверен, что по наследству передаются и другие вещи: мотивы поступков, сценарии жизни и даже судьбы. Разве я не воспользовался бы девушкой, прикидывающейся спящей? И вполне возможно, что это тоже было бы связано с каким-нибудь спектаклем и умирающими на сцене актерами.

Но оставим в стороне эти генеалогические проблемы и вернемся к биологическим фактам. Точно так же, как у девочек, живущих в одном дортуаре, у Дездемоны и Лины менструальные циклы были одинаковыми. Названный день был четырнадцатым. Это не проверялось с помощью каких-либо термометров, но уже через несколько недель тошнота и обострившееся обоняние все подтвердили. «Назвать это утренним токсикозом мог только мужчина, – заявила Лина. – Он, вероятно, являлся домой только утром и тогда замечал это». Приступы тошноты не подчинялись никаким правилам и возникали в самое разное время. Рвота могла начаться днем или посреди ночи. Беременность оказалась шлюпкой в бушующем море, из которой они не могли выбраться. Оставалось только привязать себя к мачтам своих кроватей и пережить шторм. Враждебным было все, с чем они сталкивались, – простыни, подушки, даже воздух.

Дыхание мужей стало невыносимым, и когда находились силы пошевелиться, они жестами просили их держаться подальше.

Беременность женщин принизила роль мужчин, и после первого всплеска мужской гордости они довольно быстро осознали свою скромную роль, которую природа отвела им в драме воспроизводства, и, спровоцировав непонятный им взрыв, смущенно отступили в тень. И пока их жены величественно страдали в своих спальнях, Левти и Зизмо слушали в зале музыку или отправлялись в греческий квартал, в кофейню, где они никого не могли оскорбить своим запахом. Они играли в триктрак и говорили о политике, и никто не упоминал о женщинах, так как в кофейне все были холостяками – независимо от возраста и количества произведенных на свет детей, общество которых теперь предпочитали жены. Темы разговоров всегда были одними и теми же: они обсуждали турок и их жестокость, Венизелоса и допущенные им ошибки, возвращение царя Константина и оставшееся неотомщенным сожжение Смирны.

– И кого-нибудь это волнует? Никого!

– Это похоже на то, что Беренжер сказал Клемансо: «Мир принадлежит тому, кому принадлежит нефть».

– Чертовы турки! Убийцы и насильники!

– Сначала они обесчестили Агию Софию, а теперь уничтожили Смирну!

– Хватит скулить, – вмешивался Зизмо. – В этой войне виноваты греки.

– Что?!

– Кто куда вторгся? – вопрошал Зизмо.

– Турки. В тысяча четыреста пятьдесят третьем году.

– Греки и своей-то страной управлять не могут. Зачем им еще другая?

Здесь все вскакивали, опрокидывая стулья.

– Да кто ты такой, Зизмо? Несчастный понтиец! Турецкий прихлебатель!

– Я люблю правду! – кричал Зизмо. – Нет никаких доказательств, что Смирна была подожжена турками. Это сделали греки, чтобы потом взвалить всю вину на турок.

Тут вмешивался Левти, чтобы предотвратить драку. После чего Зизмо уже держал свои политические взгляды при себе. Он мрачно пил кофе и читал разрозненные номера журналов и брошюры, посвященные космическим путешествиям и древним цивилизациям. Потом жевал лимонные корки и советовал то же Левти. Их теперь связывал дух товарищества мужчин, оказавшихся на задворках возникновения новой жизни, и, как будущих отцов, их мысли больше всего занимали деньги.

Дед никогда не говорил Джимми, из-за чего его уволили, но, похоже, Зизмо прекрасно понимал, с чем это могло быть связано. Поэтому через несколько недель он решил возместить убытки.

– Делай вид, что мы просто едем прокатиться.

– О'кей.

– А если нас остановят, ничего не говори.

– О'кей.

– Эта работа лучше, чем на заводе. Поверь мне. Пять долларов в день – это ничто. А здесь ты до отвала сможешь есть свой чеснок.

Они проезжают мимо аттракционов Электрического парка. За окном туман, на часах – начало четвертого утра. Положа руку на сердце, в такое время все аттракционы должны быть закрыты, но мне надо, чтобы в этот день парк работал всю ночь, чтобы туман внезапно исчез и чтобы мой дед увидел, как по американским горам несется вагончик. Позволив себе этот дешевый символизм, я тут же подчиняюсь строгим правилам реализма и ответственно заявляю, что ничего такого они видеть не могли. Весенний туман окутывает опоры только что открытого моста Белл-Айл. В дымке мерцают желтые шары уличных фонарей.

– Поразительно, так поздно и сколько машин, – замечает Левти.

– Да, здесь так всегда по ночам, – отвечает Зизмо.

Мост легко возносит их над рекой и плавно опускает на другом берегу. Остров Белл-Айл на реке Детройт находится всего лишь в полумиле от канадского берега. Днем парк полон гуляющих и отдыхающих. Грязные берега усеяны рыбаками. Церковные деятели проводят здесь свои собрания. Однако с наступлением темноты остров становится пристанищем свободных нравов. В укромных уголках останавливаются машины любовников. А другие автомобили переезжают мост, чтобы совершить сомнительные сделки. Зизмо проезжает во тьме мимо восьмиугольных бельведеров и памятника Герою Гражданской войны и углубляется в лес, где когда-то жители Оттавы устраивали летние лагеря. Из-за тумана ветровое стекло помутнело. Листва берез кажется пергаментной под угольно-черным небом.

Как и у большинства машин того времени, у автомобиля Зизмо нет зеркала заднего вида, поэтому он то и дело оборачивается, проверяя, не увязался ли за ними кто-нибудь. Так они петляют по Центральной аллее и Стрэнду, трижды объезжая остров, пока Зизмо не успокаивается и не останавливает машину на северо-востоке, развернув в сторону Канады.

– Почему мы остановились?

– Сиди и жди.

Зизмо трижды включает и выключает фары и выходит из машины. Левти следует за ним. Они стоят в полной темноте, прислушиваясь к плеску волн и сигналам грузовых судов. И вот издали доносится какой-то шум.

– А у тебя есть офис? – спрашивает дед. – Складские помещения?

– Вот мой офис. – Зизмо делает неопределенный жест рукой. – А это мой склад, – добавляет он, указывая на «паккард».

Шум становится громче, и Левти, сощурившись, вглядывается в туман.

– Когда-то я работал на железной дороге. – Зизмо вынимает из кармана сушеный абрикос и кладет в рот. – На западе, в Юте. Надорвал себе спину. И тогда я поумнел. – Шум становится еще ближе, и Зизмо открывает багажник. И вот из тумана появляется катер – небольшое суденышко, на борту которого двое. Они выключают мотор, и катер бесшумно всплывает в камыши. Зизмо передает одному конверт, а другой откидывает брезент на корме. В лунном свете видны двенадцать аккуратно сложенных деревянных ящиков.

– Теперь у меня собственная железная дорога, – говорит Зизмо. – Разгружай.

Таким образом выяснилось, чем именно занимается Джимми Зизмо. Он импортировал отнюдь не сушеные абрикосы из Сирии, халву из Турции и мед из Ливана по реке Святого Лаврентия – он ввозил виски «Хайрам Уокер» из Онтарио, пиво из Квебека и ром с Барбадоса. Сам он – трезвенник – зарабатывал на жизнь, покупая и продавая спиртное.

– Что делать, если все эти американцы пьяницы? – оправдывался он через несколько минут, когда ящики были погружены.

– Ты должен был раньше мне сказать! – гневно кричал Левти. – Если нас поймают, я не получу гражданства и меня отправят обратно в Грецию.

– А у тебя разве есть выбор? Может, у тебя есть работа получше? И не забывай, мы оба ждем детей.

Так началась криминальная жизнь моего деда. Следующие восемь месяцев он занимался вместе с Зизмо контрабандой спиртного: они вставали глубокой ночью и обедали на рассвете. Он усвоил сленг нелегальной торговли и четырехкратно расширил свой словарный запас. Научился называть спиртное «хуч», «бинго», «беличьей мочой» и «обезьяньими помоями», а питейные заведения «разливухами», «кабаками», «барами» и «рюмочными». Он заучил расположение всех подпольных баров, всех похоронных контор, которые бальзамировали тела не благовониями, а с помощью джина; все церкви, где прихожанам предлагалось не только освященное вино; и все парикмахерские, где в банках и склянках хранился дешевый джин. Левти

подробно ознакомился с береговой линией реки Детройт, со всеми ее потаенными заводами и секретными причалами и научился распознавать полицейские катера на расстоянии в четверть мили. Занятие контрабандой требовало хитрости и ловкости. В широком масштабе бутлегерство контролировалось мафией и Пурпурной бандой. Но из соображений благотворительности они сквозь пальцы смотрели на любительское предпринимательство, когда речь шла о ночной поездке в Канаду и обратно на каком-нибудь рыболовецком суденышке. Женщины, пряча под юбками галлоны виски, переправлялись на пароме в Виндзор. И крупные воротилы, до тех пор пока это не мешало их деятельности, не препятствовали этому. Зизмо же действовал с куда большим размахом.

Они совершали свои операции по пять-шесть раз в неделю. В багажник «паккарда» помещалось четыре ящика и еще восемь на просторном заднем сиденье. Для Зизмо не существовало ни правил, ни чужих территорий.

– Как только они приняли сухой закон, я тут же пошел в библиотеку и изучил карту, – говорил он, объясняя, как он занялся этим делом. – И увидел, что Канада и Мичиган вплотную прилегают друг к другу. Тогда я пошел и купил билет до Детройта. Я приехал сюда нищим и пошел в греческий квартал к свату. Знаешь, почему я разрешаю Лине водить машину? Потому что она куплена на ее деньги. – Он удовлетворенно улыбнулся, но потом мысли его приняли другой оборот, и его лицо потемнело. – Хотя имей в виду, я вообще-то не одобряю, когда женщины сидят за рулем. А теперь им еще дали и право голоса! Помнишь спектакль, на который мы ходили? – проворчал он. – Они все такие. Дай им волю, и они займутся любовью с быком.

– Это же просто миф, Джимми, – возразил Левти. – Его же нельзя понимать буквально.

– Почему? – осведомился Зизмо. – Женщины отличаются от нас. У них плотская природа. Самое лучшее, что с ними можно сделать, – это запирать их в лабиринте.

– О чем ты?

– О беременности, – улыбнулся Зизмо.

И это действительно походило на лабиринт. Дездемона поворачивалась то туда, то сюда, то направо, то налево, пытаясь найти удобное положение. Не вылезая из постели, она блуждала по темным коридорам беременности, спотыкаясь о кости предшественниц, проделавших этот путь до нее. Сначала о кости своей матери Ефросиньи (на которую она внезапно стала походить), потом о кости теток, бабок и всех других женщин, уходящих в глубокую историю до самой прама матери Евы, на чрево которых было наложено проклятие. Теперь Дездемона физически ощущала их, разделяла с ними их боль и вздохи, их страх и опасения, их униженность и их упования. Как и они, она прикасалась к своему животу, поддерживая мироздание, она ощущала гордость и всемогущество, а потом ее пронизывала судорога.

Теперь в общих чертах я набросаю вам картину беременности. Восемь недель – Дездемона лежит на спине, до самых подмышек натянув на себя одеяло, и смотрит, как за окном меняется освещение в зависимости от дня и ночи. Она поворачивается на бок и видит, как одеяло меняет свои очертания. Шерстяное одеяло то появляется, то исчезает. На прикроватный столик опускаются подносы с едой и тут же улетают. Но на протяжении всей этой безумной пляски неодушевленных предметов главным остается непрерывно меняющееся тело Дездемоны. Ее грудь набухает. Соски темнеют. В четырнадцать недель у нее начинает расплываться лицо, и я впервые узнаю в ней бабушку своего детства. В двадцать недель от пупка вниз начинает обозначаться какая-то таинственная линия. Живот вздымается. В тридцать недель у нее начинает истончаться кожа, а волосы густеют. Лицо становится не таким бледным, и, наконец, от него начинает исходить сияние. Чем полнее она становится, тем меньше двигается. Она перестает поворачиваться на живот. Она неподвижно наплывает на объектив камеры. Световые эффекты за окном продолжают. В тридцать шесть недель она сворачивает себе кокон из простыней. Простыни то накрывают ее, то сползают вниз, и тогда из-под них появляется ее измученное, решительное и нетерпеливое лицо. Глаза ее открыты. Она кричит.

Лина, чтобы избежать варикоза вен, обматывает ноги бинтами. Опасаясь появления дурного запаха изо рта, она ставит рядом с кроватью коробочку с мятными таблетками; каждое утро она взвешивается, с досадой прикусывая нижнюю губу. Ей нравится ее нынешняя пышная фигура, но при том она задумывается о последствиях. «Я знаю, грудь уже никогда не станет такой, как прежде. Грудь просто обвиснет. Как не раз видела на фотографиях в „Нэшнл джио-грэфик“». Во время беременности Лина ощущает себя каким-то животным. И испытывает от этого неловкость. Лицо ее краснеет во время гормональных приливов. Она потеет, и макияж начинает плыть. Все происходящее кажется ей рудиментом, сохранившимся от более примитивных форм жизни. Беременность возвращает ее на низшую стадию развития: она ассоциирует себя с пчелиной маткой, откладывающей яйца. Она вспоминает соседскую колли, которая рыла себе нору на заднем дворе прошлой весной.

Единственным утешением оставалось радио. Теперь она не снимала наушники ни в кровати, ни в ванной. Летом выходила с ними на улицу и усаживалась под вишней. Наполняя голову музыкой, она сбегала от собственного тела.

Однажды октябрьским утром у дома 3467 по Херлбат-стрит остановилось такси, из которого появилась худая и высокая мужская фигура. Мужчина сверил по бумажке адрес, забрал свои вещи – зонтик и чемодан – и расплатился с водителем. Снял шляпу и уставился на нее так, словно на полях шляпы были записаны инструкции. Постояв некоторое время, он снова водрузил ее на голову и двинулся к входной двери.

Стук в дверь расслышали и Лина, и Дездемона. Они встретились в прихожей.

Когда дверь открылась, гость взглянул сначала на один живот, а потом на другой.

– Как я вовремя, – заметил он.

Это был доктор Филобозян. Ясноглазый, чисто выбритый – он уже оправился от своего горя.

– У меня сохранился ваш адрес.

Женщины пригласили его в дом, и он поведал им свою историю. Он действительно подхватил на «Джулии» какую-то инфекцию. Но врачебная лицензия спасла его от высылки в Грецию – Америке нужны были врачи. Доктор Филобозян целый месяц провел в больнице на острове Эллис, после чего при посредничестве Армянского фонда въехал в страну. Год он провел в Нью-Йорке, обтачивая линзы для оптики. А потом ему удалось получить кое-какие средства из Турции, и он переехал на Средний Запад.

– Хочу начать здесь практику. В Нью-Йорке уже и так достаточно врачей.

Доктор остался обедать. Пикантное положение женщин не освобождало их от выполнения домашних обязанностей. Еле передвигая отекавшие ноги, они подали баранину с рисом, греческий салат и рисовый пудинг. После обеда Дездемона сварила кофе по-гречески и разлила по чашечкам так, чтобы сверху осталась коричневая пена.

– Такое возможно в одном случае из ста, – обратился Филобозян к мужчинам. – Вы уверены, что это произошло в одну и ту же ночь?

– Да, – откликнулась Сурмелина, закуривая за столом. – Ночь оказалась очень напряженной.

– Обычно женщине удается забеременеть не раньше чем через полгода после свадьбы, – продолжил доктор. – А чтобы вы обе в одну и ту же ночь – поразительно!

– Говорите, один случай из ста? – переспросил Зизмо, глядя на Сурмелину.

– По меньшей мере, – подтвердил доктор.

– Во всем виноват Минотавр, – пошутил Левти.

– Не смей вспоминать этот спектакль, – оборвала его Дездемона.

– Что ты на меня так смотришь? – осведомилась Лина.

– А что, нельзя? – поинтересовался ее муж.

Сурмелина раздраженно вздохнула и вытерла рот салфеткой. Повисла напряженная тишина; ее нарушил доктор Филобозян, налив себе еще стакан вина.

– Появление на свет человека – это потрясающая вещь. Например, врожденные недостатки. Считается, что они могут возникнуть на почве фантазий матери. Все, о чем подумает или на что посмотрит мать во время полового акта, может отразиться на состоянии ребенка. У Дамаскина есть история о женщине, у которой над кроватью висело изображение Иоанна Крестителя в традиционной власянице. И вот в порывах страсти бедняжке довелось бросить на него взгляд. А через девять месяцев у нее родился младенец, волосатый, как медведь! – Доктор, довольный собой, рассмеялся и глотнул вина из своего стакана.

– Неужели такое действительно может случиться? – встревожившись, спросила Дездемона.

Доктор явно вошел в роль.

– Есть и другая история о женщине, которая, занимаясь любовью, прикоснулась к жабе. И у нее родился ребенок с выпученными глазами и покрытый бородавками.

– Это вы вычитали в своей книге? – дрожащим голосом спросила Дездемона.

– Да, в книге Паре «О чудесах и уродствах» есть много таких историй. Но Церковь тоже занимается этими вопросами. В «Священной эмбриологии» Каньямилла советует применять внутриутробное крещение. Предположим, вас тревожит, что у вас может родиться урод. Это можно исправить. Вы просто набираете в шприц святой воды и крестите младенца еще до его рождения.

– Не волнуйся, Дездемона, – заметил Левти, видя, насколько встревожена его жена. – В наше время врачи уже не разделяют этого мнения.

– Конечно, нет, – откликнулся доктор Филобозян. – Вся эта чушь возникла в период Средневековья. Теперь мы знаем, что все врожденные нарушения вызываются кровным родством родителей.

– Чем-чем? – переспросила Дездемона.

– Внутрисемейными браками.

Дездемона побледнела.

– Именно это и вызывает у детей развитие различных патологий. Умственную отсталость. Гемофилию. Вот, например, Романовы. Или любая другая монаршая семья. Они же все мутанты.

– Не помню, о чем я думала в ту ночь, – призналась Дездемона позднее, моя посуду.

– А я помню, – откликнулась Лина. – О той, рыжей, которая сидела третьей справа от меня.

– А у меня глаза были закрыты.

– Тогда тебе не о чем беспокоиться.

Дездемона повернула кран, чтобы вода заглушала их голоса.

– А как же вот это... кровное родство?

– Внутрисемейный брак?

– Да. Как узнать, что там с ребенком?

– Это ты узнаешь только после его появления на свет.

– О господи!

– Почему, ты думаешь, Церковь запрещает браки между братьями и сестрами? Люди, состоящие даже в двоюродном родстве, должны получать на это разрешение у архимандрита.

– Я думала, это потому, что... – И Дездемона умолкла, не зная ответа.

– Не волнуйся, – продолжила Лина. – Врачи всегда преувеличивают. Если бы все это было настолько плохо, у нас с тобой уже было бы по шесть рук, но не было бы ног.

Но Дездемону это не успокоило. В своих мыслях она вернулась в Вифинию, пытаясь вспомнить, много ли там рождалось детей с отклонениями. У Мелии Салакас родилась дочь, у которой отсутствовала часть лица. А ее брат Йоргос всю жизнь оставался восьмилетним мальчиком. Рождались ли в Вифинии волосатые дети? Или бородавчатые? Дездемона помнила, как мать рассказывала о странных младенцах, рождавшихся в деревне. Раз в несколько поколений то тут, то там рождался больной ребенок, хотя мать Дездемоны никогда не уточняла, каким именно недугом он страдал. И у всех у них жизнь заканчивалась трагически: они или кончали самоубийством, или сбегали и становились цирковыми артистами, а некоторых много лет спустя видели в Бурсе – они попрошайничали или занимались проституцией. Лежа по ночам в одиночестве, когда Левти уезжал на работу, Дездемона пыталась припомнить подробности этих историй, но все это происходило давным-давно, а Ефросинья Стефанидис была мертва, и спросить было не у кого. Она вспоминала ночь зачатия и старалась восстановить последовательность событий. Она повернулась на бок, поправила подушку Левти. Картин на стенах не было, и ни к каким жабам она не прикасалась. «Что я видела? – вопрошала она себя. – Только стену».

Однако тревоги мучили не только ее одну. Теперь с полной безответственностью и с официальным заявлением о том, что я не отвечаю за достоверность рассказанного, я дам вам представление о переживаниях Джимми Зизмо, так как из всех персонажей моего среднезападного Эпидавра¹⁶ именно ему принадлежит самая большая маска. Радовался ли он тому, что ему предстояло стать отцом? Приносил ли он домой пищевые добавки и гомеопатические чаи? Нет. После обеда с доктором Филобозьяном у Джимми Зизмо начали происходить перемены. Может, это было вызвано словами доктора о синхронном зачатии. Об этой одной сотой доли вероятности. Возможно, именно эти случайные совпадения и стали причиной его все возраставшей задумчивости и подозрительных взглядов, которые он бросал на свою беременную жену. Возможно, он начал сомневаться в вероятности успешного зачатия после того, что у них пять месяцев не было никаких отношений. Может, Зизмо начал ощущать себя стариком рядом со своей молодой женой? Или обманутым?

Короче, в конце осени 1923 года моих родственников преследовали минотавры. Дездемоне они являлись в виде волосатых и истекающих кровью младенцев. Зизмо же одолевало более известное чудовище с зелеными глазами. Оно пиялилось на него из темной реки, когда он ждал на берегу груз спиртного. Оно выпрыгивало на него с обочины дороги и прикидало к ветровому стеклу «паккарда». Оно валялось в постели, когда в предраассветные часы он возвращался домой: зеленоглазая тварь возлежала рядом с его молодой и загадочной женой, но стоило Зизмо моргнуть, и она тут же исчезала.

Первый снег выпал, когда женщины были уже на девятом месяце. Отправляясь на Белл-Айл, Левти и Зизмо надевали перчатки и шарфы. Однако, несмотря на это, Левти дрожал от холода. За последний месяц им дважды с трудом удавалось улизнуть от полиции. Изнемогая от ревности, Зизмо становился рассеянным, забывал о назначенных встречах и организовывал выгрузку в недостаточно подготовленных для этого местах. Но что было еще хуже, так это то, что Пурпурная банда начала забирать в свои руки всю городскую торговлю спиртным. Так что теперь прямое столкновение с ней было только вопросом времени.

Меж тем на Херлбат-стрит качается ложечка. Сурмелина с забинтованными ногами лежит на спине в своем будуаре, а Дездемона осуществляет один из первых своих прогнозов, череда которых закончилась с моим появлением на свет.

– Скажи, что это девочка.

– Ты же не хочешь девочку. С ними слишком много хлопот. Сначала они встречаются с мальчиками, потом им надо доставать приданое и искать мужа...

¹⁶ Эпидавр – город с самым известным древнегреческим амфитеатром.

– В Америке не принято давать приданое за невестой, Дездемона. Ложечка начинает двигаться.

– Если это мальчик, я тебя убью.

– С дочерью ты все время будешь ссориться.

– С дочерью я смогу поговорить.

– Сын будет любить тебя.

Амплитуда качания все возрастает.

– Это... это...

– Кто?

– Можешь начинать копить деньги.

– Правда?

– Запирать на запоры все окна и двери.

– Правда? Не шутишь?

– Готовиться к непрерывным ссорам.

– Это действительно...

– Да. Это определено девочкой.

– Слава Тебе, Господи.

...Вычищается встроенный шкаф. Стены красят в белый цвет. Из универмага «Гудзон» прибывают две одинаковые колыбельки. Моя бабка устанавливает их в детской и вешает между ними одеяло, на случай если у нее родится мальчик. В коридоре она останавливается перед лампадкой и молится Всемогущему: «Пожалуйста, избавь моего ребенка от гемофилии. Мы с Левти не ведали, что творили. Пожалуйста, клянусь, я больше не стану производить на свет детей. Только одного».

Тридцать три недели. Тридцать четыре. Младенцы плавают и кувыркаются в околородных водах, разворачиваясь головками вперед. Но, синхронно зачав, Сурмелина и Дездемона в конце расходятся во времени. Семнадцатого декабря, слушая радиоспектакль, Сурмелина снимает наушники и заявляет, что у нее начались схватки. И через три часа, как и предсказывала Дездемона, доктор Филобозян помогает появиться на свет девочке. Ребенок весит всего лишь четыре фунта и три унции, и на неделю его помещают в инкубатор.

– Вот видишь? – говорит Лина Дездемоне, глядя через стекло на младенца. – Доктор Фил ошибался. Видишь, волосы у нее черненькие, а не рыжие.

Следующим к инкубатору подходит Джимми Зизмо. Он снимает шляпу и низко наклоняется. Не морщится ли он? Не подтверждает ли светлая кожа ребенка его подозрения? Или дает ответы на его вопросы о том, почему его жена жаловалась на недомогание, а потом так своевременно исцелилась, чтобы подтвердить его отцовство? (Однако, несмотря на все его сомнения, это была его дочь. Просто возобладал цвет лица Сурмелины. Генетика ведь целиком зависит от случайностей.)

Единственное, что я знаю, так это то, что вскоре после того как Зизмо увидел свою дочь, он решил осуществить свою последнюю махинацию.

– Собирайся, – неделей позже заявил он Левти. – У нас сегодня будут дела.

Особняки, расположенные на берегах озера, освещены рождественскими огнями. На огромной, покрытой снегом лужайке розовой террасы возвышается тринадцатиметровая елка, привезенная на грузовике с Верхнего полуострова. Вокруг нее кружатся эльфы в миниатюрных седанах Доджа. А Санта-Клаус едет на северном олене. (Рудольф тогда еще не был изобретен, поэтому нос у оленя черный.) Мимо ворот особняка проезжает коричневатый-черный «паккард». Водитель сидит, устремив взгляд вперед. Пассажир, повернувшись, смотрит на огромное строение.

Джимми Зизмо едет медленно из-за того, что шины обмотаны цепями. Двигаясь по Джефферсон-авеню, они минуют Электрический парк и мост Белл-Айл и въезжают в район Ист-Сайда. (И тут появляюсь я. Здесь расположен дом Старков, где мы с Клементиной Старк «учились» целоваться в третьем классе. И здесь же над озером расположена школа для девочек «Бейкер и Инглис».) Дед прекрасно понимает, что Зизмо приехал сюда не для того, чтобы любоваться особняками, и с тревогой ждет, когда тот поделится своими замыслами. Сразу за Розовой террасой тянется черная, пустая и замерзшая прибрежная полоса. У самого берега громоздятся ледяные торосы. Зизмо едет вдоль берега, пока не добирается до спуска, где летом швартуются лодки. Там он сворачивает и останавливается.

– Мы поедem по льду? – спрашивает дед.

– Сейчас так проще всего добраться до Канады.

– А ты уверен, что он выдержит?

Вместо ответа Зизмо открывает дверцу со своей стороны, готовый бежать. Левти следует его примеру. Передние колеса «паккарда» съезжают на лед, и кажется, что вся ледяная корка содрогается. Затем раздается зубовой скрежет. И все затихает. Задние колеса сползают на лед – он оседает.

Дед, не молившийся со времен Бурсы, начинает подумывать, не прибегнуть ли к этому средству. Озеро Сен-Клер контролируется Пурпурной бандой. Тут нет ни деревьев, за которыми можно было бы спрятаться, ни поворотов, куда можно свернуть. Левти покусывает большой палец без ногтя.

Луны нет, и они различают лишь освещенные фарами пятнадцать футов крупитчатой голубоватой поверхности, пересеченной следами шин. Снег вихрится на ветру. Зизмо рукавом протирает запотевшее стекло.

– Следы, не появится ли впереди темный лед.

– Зачем?

– Там он чересчур тонок.

Не проходит и нескольких минут, как впереди появляется промоина. На мелководье вода подтачивает лед, и Зизмо приходится объезжать. Однако тут же возникает еще одна промоина, и он сворачивает в другую сторону. Направо. Налево. Снова направо. «Паккард» петляет по льду, двигаясь по следу других контрабандистов. Временами путь преграждают торосы, и тогда приходится давать задний ход и возвращаться обратно. Направо, налево, назад, вперед – в кромешной тьме по гладкому, как мрамор, льду. Зизмо склоняется над рулем и, сощурившись, смотрит вдаль, куда не доходит луч фар. Дед держит дверцу открытой и прислушивается, не трещит ли лед...

...И вот за шумом двигателя слышится какой-то новый звук. В ту же самую ночь на другом конце города моей бабке снится кошмар. Она лежит в спасательной шлюпке на борту «Джулии». Капитан Контулис склоняется к ее раздвинутым ногам и снимает с нее свадебный корсет. Попыхивая сигареткой, он расшнуровывает и расстегивает его. Дездемона, смущенная собственной наготой, пытается рассмотреть, что же вызвало внезапное любопытство капитана, и видит, что из нее торчит тяжелый канат. «Раз-два, взяли!» – кричит капитан Контулис, и тут появляется встревоженный Левти. Он хватается за канат и начинает тянуть. А потом...

...Боль. Боль во сне, которая так реальна и в то же время нереальна. Глубоко внутри Дездемоны что-то лопается, и она ощущает тепло, по мере того как шлюпка заполняется кровью. Левти дергает канат еще раз, и кровь брызжет капитану на лицо, но тот опускает поля шляпы и заслоняется. Дездемона кричит, шлюпка начинает раскачиваться, а потом раздается треск, и у нее возникает чувство, что ее разорвали на две половины, там, на конце каната, оказывается ее ребенок – крохотный красный комочек, запутанный клубок мышц.

Она пытается рассмотреть его ручки – и не может, пытается увидеть ножки – и тоже не может; потом он поднимает свою крохотную головку, и она смотрит ему в лицо, на котором нет ни глаз, ни рта, ни носа, а только два смыкающихся и расходящихся в разные стороны зубика...

Дездемона моментально просыпается, и проходит несколько мгновений, прежде чем она понимает, что ее действительная, настоящая кровать абсолютно мокрая. У нее отошли воды...

...А на льду при каждом нажатии на педаль газа фары у «паккарда» загораются все ярче и ярче. «Паккард» достигает фарватера и оказывается где-то между берегами. Огромный черный котел неба усыпан звездами. Ни Зизмо, ни Левти уже не могут вспомнить, откуда они приехали, сколько раз сворачивали и в каких местах были промоины. Замерзшая поверхность покрыта следами, разбегающимися во все стороны. Они минуют останки ветхих, наполовину провалившихся под лед драндулетов, изрешеченных пулями, вокруг которых валяются ведущие мосты, колесные диски и шины. В темноте и снежной круговерти деду начинает отказывать зрение. Несколько раз он ловит себя на ощущении, что навстречу им едут машины. Они возникают то спереди, то сбоку, то сзади и движутся с такой скоростью, что он не успевает их рассмотреть. Теперь салон «паккарда» заполняется новым запахом – кожу и виски забивает другой, металлический привкус, пересиливающий даже аромат дезодоранта Левти, – запах страха. И именно в этот момент Зизмо спокойно спрашивает:

– Никогда не мог понять, почему ты никому не говоришь, что Лина приходится тебе двоюродной сестрой?

Этот вопрос, словно удар грома среди ясного неба, застает моего деда врасплох.

– Мы не делаем из этого никакой тайны.

– Да? – переспрашивает Зизмо. – Однако я никогда не слышал, чтобы ты говорил об этом кому-нибудь.

– Там, где мы жили, все приходилось друг другу родственниками, – пытается отшутиться Левти. – Нам еще далеко?

– На другую сторону фарватера. Мы все еще на американской стороне.

– Как ты их здесь отыщешь?

– Найдем. Хочешь побыстрее? – И, не дожидаясь ответа, Зизмо жмет на акселератор.

– Да нет. Притормози.

– И вот еще что меня очень интересует, – продолжает Зизмо, прибавляя скорость.

– Джимми, осторожнее.

– Почему Лине потребовалось уезжать, чтобы выйти замуж?

– Ты слишком быстро едешь. Я не успеваю смотреть на лед.

– Отвечай.

– Почему она уехала? Просто в деревне не было женихов. К тому же она хотела в Америку.

– Серьезно? – И Зизмо еще прибавляет скорость.

– Джимми! Тормози.

Но Зизмо выжимает педаль до пола и кричит:

– Это ты!

– О чем ты?

– Это ты! – ревет Зизмо, двигатель начинает скулить, и машину заносит на льду. – Кто это? – требует Зизмо. – Говори! Кто он?

...Но прежде чем мой дед успевает ответить, по льду ко мне несется другое воспоминание. Воскресный вечер, и отец ведет меня в кино в яхт-клуб Детройта. Мы поднимаемся по лестнице, покрытой красным ковром, проходим мимо серебряных морских призов и портрета гонщика на гидропланах Гара Вуда. На втором этаже расположен зал. Перед экраном – ряды деревянных складных стульев. Свет гаснет, и луч дребезжащего кинопроектора высвечивает в воздухе миллион пылинок.

Отец считал, что единственный способ внушить мне национальное чувство – это показывать дублированные итальянские фильмы на сюжеты греческих мифов. И так, раз в неделю мы лицезрели Геракла, который то убивает Немейского льва, то похищает пояс царицы амазонок («Видишь, Калли, это пояс»), а то – без всякого подтверждения этого эпизода в классическом тексте – оказывается беспричинно брошенным в яму со змеями. Но больше всего нам нравился Минотавр...

...На экране появлялся актер в плохом парике. «Это Тезей, – пояснял Мильтон. – Видишь, в руках у него клубок, который дала ему его подружка. И он нужен ему, чтобы найти выход из лабиринта».

Тезей входит в лабиринт. Его факел освещает каменные стены, сделанные из картона. Его путь усеивают кости и черепа. Искусственные стены покрыты кровавыми подтеками. Не отрывая глаз от экрана, я протягиваю руку. Отец лезет в карман спортивной куртки и достает сливочную конфету. «А вот и Минотавр!» – шепчет он. И я вздрагиваю от страха и удовольствия.

Печальна судьба этого существа, вызывавшего тогда во мне чисто академический интерес. Астерий не по собственной вине произвел на свет чудовище. Отравленный плод предательства и объект стыда – я мало что понимал в этом в свои восемь лет. Я болел за Тезея...

...Как и моя бабка, готовившаяся в 1923 году к встрече с существом, таящимся в ее чреве. Поддерживая живот, она садится на заднее сиденье такси, а Лина просит шофера поспешить. Дездемона тяжело вдыхает и выдыхает воздух, как бегун, старающийся выровнять дыхание, а Лина произносит:

– Я даже не сержусь, что ты меня разбудила. Кстати, утром мне все равно в больницу. Мне позволили взять девочку домой.

Но Дездемона не слушает ее. Она открывает заранее сложенную сумку и между ночной рубашкой и тапочками нащупывает свои четки. Янтарные, как застывший мед, и потрескавшиеся от огня, они уберегли ее от резни, хранили во время бегства и провели невредимой через горящий город, и она снова начинает перебирать их, пока такси с грохотом несется по темным улицам, пытаясь обогнать ее схватки...

...А Зизмо несется по льду в своем «паккарде». Стрелка спидометра ползет все дальше и дальше. Двигатель грохочет. Цепи оставляют на снегу следы, похожие на петушиные крылья. «Паккард» мчит во тьму, скользит и тормозит на просевшем льду.

– Вы все это заранее спланировали? – кричит Зизмо. – Лина вышла замуж за американца, чтобы потом спонсировать тебя?

– О чем ты говоришь? – пытается образумить его дед. – Когда вы с Линой поженились, я даже еще и не думал о переезде в Америку. Пожалуйста, притормози.

– Значит, это был заранее спланированный умысел? Найти ей мужа, а потом вселиться в его дом?

Беспроектная самоуверенность героев фильмов о Минотавре. Чудовище всегда появляется там, где его меньше всего ждут. Точно так же и на озере Сен-Клер, пока мой дед высматривал Пурпурную банду, чудовище оказалось прямо рядом с ним, за рулем машины. Курчавые волосы Зизмо развеваются от ветра, влетающего через открытую дверцу, и напоминают львиную гриву. Голова опущена, ноздри трепещут от гнева, в глазах сверкает ярость.

– Кто это?!

– Джимми! Сворачивай! Лед! Ты не смотришь на лед!

– Я не остановлюсь, пока ты не признаешься.

– Мне не в чем тебе признаваться. Лина – хорошая женщина. Она верная жена. Клянусь тебе!

Но «паккард» продолжает мчаться дальше. Дед распластывается на сиденье.

– А как же ребенок, Джимми? Подумай о своей дочери.

– Кто сказал, что она моя?

– Конечно, твоя.

– Зачем я только на ней женился?!

Но Левти уже не остается времени на ответ – он выкатывается из машины через открытую дверцу. Ветер отталкивает его, словно он налетел на стену, и отбрасывает назад, ударяя о задний бампер. Левти видит, как, словно в замедленной съемке, его шарф накручивается на заднее колесо «паккарда». Он чувствует, как шарф удавкой затягивается у него на шее, потом срывается, и ход времени снова набирает скорость по мере того, как автомобиль начинает удаляться. Прикрыв лицо руками, Левти падает на лед, и его по инерции относит в сторону. А когда он поднимает голову, то видит удаляющийся «паккард». И теперь уже невозможно определить, пытается ли Зизмо затормозить или свернуть в сторону. Левти встает – кости целы – и смотрит вслед обезумевшему Зизмо, который мчится во тьме... шестьдесят ярдов... восемьдесят... сто... пока вдруг до него не доносится другой звук. Заглушая рев двигателя, раздаётся громкий треск, и под ногами начинают разбегаться трещины, когда «паккард» врезается в заплатку просевшего льда.

Человеческая жизнь трещит так же, как лед. Разрушается личность. Джимми Зизмо, скрючившийся над рулем «паккарда», уже изменился до неузнаваемости. И на этом все заканчивается. Больше мне сказать нечего. Может, это было яростью ревности. А может, он прикинул свои возможности и соотнес размер приданого с расходами на воспитание ребенка. Понимая, что сухой закон долго не продержится.

Не исключено, что он мог и сам все это подстроить.

Однако сейчас нет времени для размышлений. Потому что лед трещит, и передние колеса машины проваливаются под воду. «Паккард» с изяществом слона, встающего на передние ноги, переворачивается на решетку радиатора. Еще какое-то время фары освещают лед и воду под ним, как в плавательном бассейне, но потом, в фейерверке искр, капот проваливается, и все погружается во тьму.

Роды Дездемоны длятся шесть часов. Доктор Филобозян принимает младенца, пол которого определяется как обычно: заглянув в промежность.

– Поздравляю. Сын.

– И волосы только на голове! – с огромным облегчением восклицает Дездемона.

Спустя некоторое время в больницу приезжает Левти. Он пешком добрался до берега и поймал на дороге молоковоз, который довез его до дома. И теперь он, с разбитой об лед правой щекой и распухшей нижней губой, стоит у окна детского отделения, все еще ощущая запах страха. По случайному совпадению в то же самое утро Лина девочка набрала достаточный вес и ее вынули из инкубатора. Медсестры держали на руках обоих детей. Мальчика назвали Мильтиадом – в честь великого афинского полководца, но все называли его Мильтоном – в честь великого английского поэта. Девочка, которой суждено было расти без отца, была названа Теодорой – в честь распутной византийской императрицы, которой восхищалась Сурмелина. Но и она со временем получила американское прозвище.

Однако я хотел бы сказать еще кое-что об этих детях. То, что нельзя было рассмотреть невооруженным глазом. Вглядитесь. Вот. Видите?

У обоих произошла мутация.

Фригидный брак

Похороны Джимми Зизмо состоялись через тринадцать дней с разрешения чикагского архимандрита. Почти две недели никто из членов семьи не выходил из дома, оскверненного смертью, и лишь изредка они принимали случайных посетителей, заходивших выразить свои соболезнования. Зеркала занавешены черными полотнищами. На двери – черные ленты. Левти, уйдя от суетного света, перестал бриться, и ко дню похорон у него уже отросла приличная борода.

Проволочка произошла из-за неудачных попыток полиции найти тело. На следующий день после трагедии на место происшествия отправились два детектива. Там за ночь успела нарасти новая корка льда, на которую еще и снега насыпалось несколько дюймов. Детективы ходили взад-вперед, разыскивая следы колес, но через полчаса сдались. Их устроил рассказ Левти, будто Зизмо поехал на зимнюю рыбалку и, вероятно, выпил. Один из детективов заверил, что тела – в прекрасной сохранности – часто всплывают по весне.

Семья была охвачена горем. Отец Стилианопулос рассказал об этом случае архимандриту, и тот разрешил похороны по православному обряду, с обязательным условием: провести службу на могиле, если тело будет найдено. Подготовку к похоронам взял на себя Левти. Он выбрал гроб, нашел участок на кладбище, заказал надгробную плиту и заплатил за некролог в газетах. В это время греческие иммигранты уже начали пользоваться похоронными агентствами, но Сурмелина настояла на том, чтобы прощание было дома. Целую неделю люди могли приходить в затемненную залу с опущенными шторами, пропитанную пряным запахом цветов. Приходили коллеги Зизмо по его сомнительному бизнесу, его клиенты, а также кое-какие друзья Лины. Они выражали вдове свои соболезнования и подходили к открытому гробу, где на подушке лежало фото Джимми Зизмо в рамке. Джимми сфотографирован вполоборота, его взор обращен в сторону студийного небесного сияния. Сурмелина разрешила ленточку, соединявшую их свадебные венцы, и положила венец мужа в гроб.

Смерть Джимми причинила Сурмелине боль, намного превосходившую все чувства, которые она испытывала к нему при жизни. По десять часов в течение двух дней она голосила, стоя перед пустым гробом. В лучших деревенских традициях Сурмелина исторгала душераздирающие плачи, горюя о смерти своего мужа и коря его за столь ранний уход. Покончив с Зизмо, она набрасывалась на Господа, обвиняя Его в том, что Он так рано забрал его и оставил сиротой их новорожденную дочь.

– Ты во всем виноват! Ты! – кричала она. – Зачем ты умер? Зачем оставил меня вдовой? Теперь твоя дочь окажется на панели! – Время от времени она воздевала вверх младенца, чтобы Господь и Зизмо видели, что они наделали. При виде Лининых страданий иммигранты старшего поколения вспоминали свое детство в Греции и похороны своих родителей, и все сходились во мнении, что такое выражение горя несомненно обеспечит Джимми Зизмо вечный покой.

Его похороны, как предписывают церковные законы, состоялись в будний день. Отец Стилианопулос прибыл в дом в десять утра в высокой камилавке и с большим наперсным крестом. После молитвы Сурмелина поднесла ему горящую свечу, задула ее, и, когда дым рассеялся, отец Стилианопулос разломил ее надвое. Потом все вышли на улицу и направились к кладбищу. Левти для такого дела нанял лимузин, усадил в него свою жену и кузину и сел рядом с ними. Он помахал рукой человеку, который должен был остаться и не дать духу Зизмо вернуться в дом. Этим человеком был будущий хиропрактик Питер Татакис. По традиции, дядя Пит охранял вход в дом более двух часов, пока длилась служба в церкви.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.